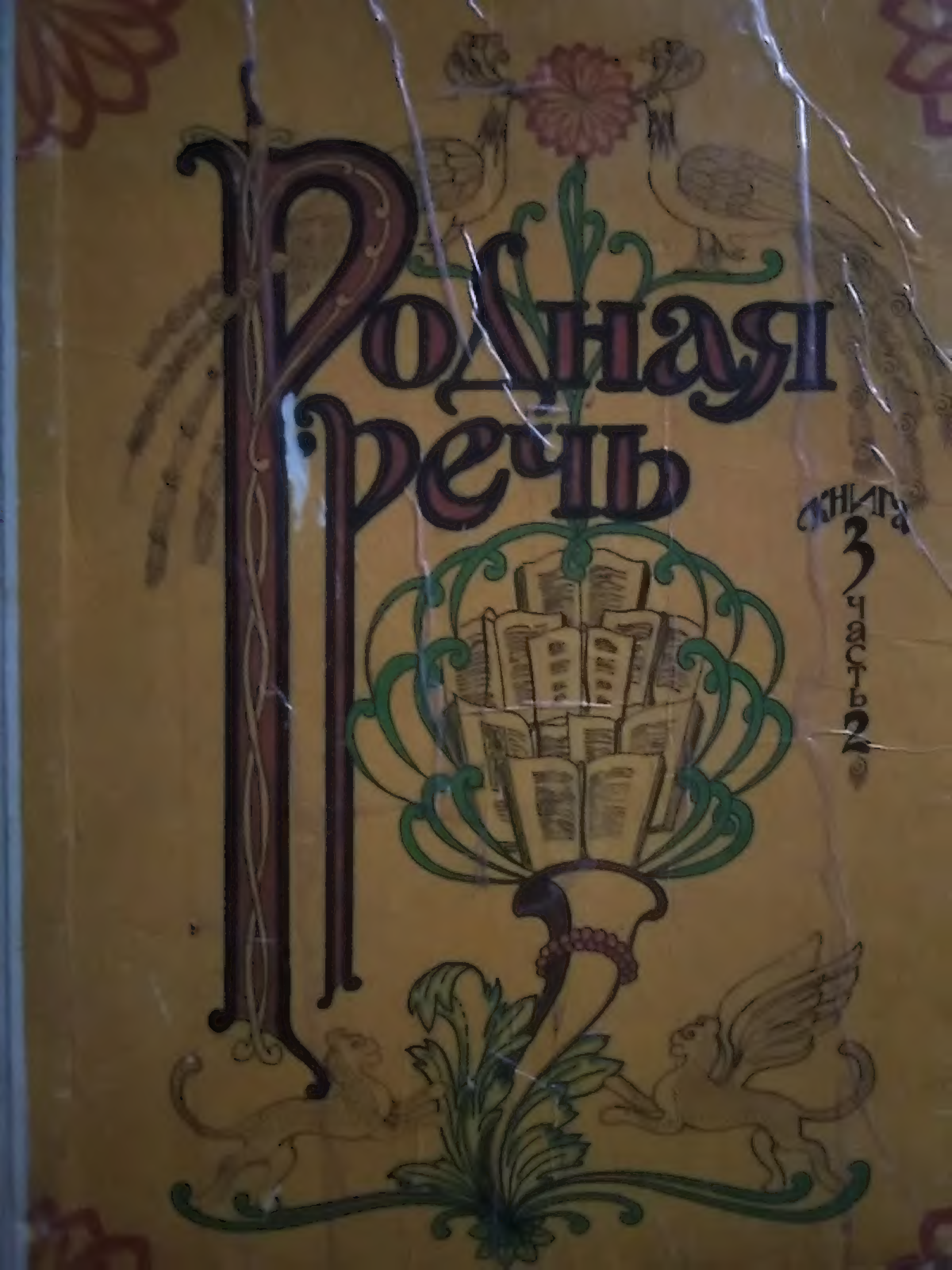
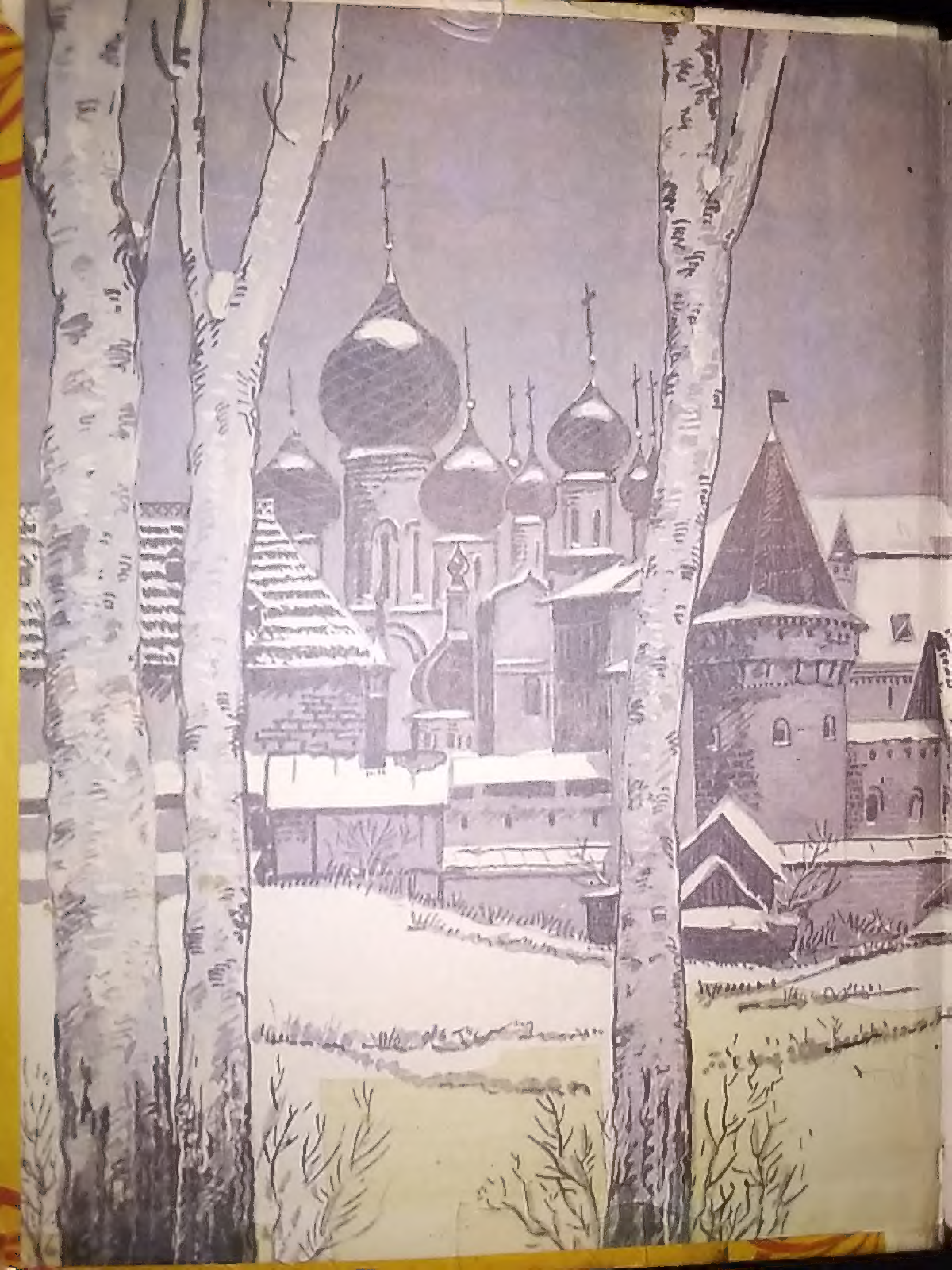
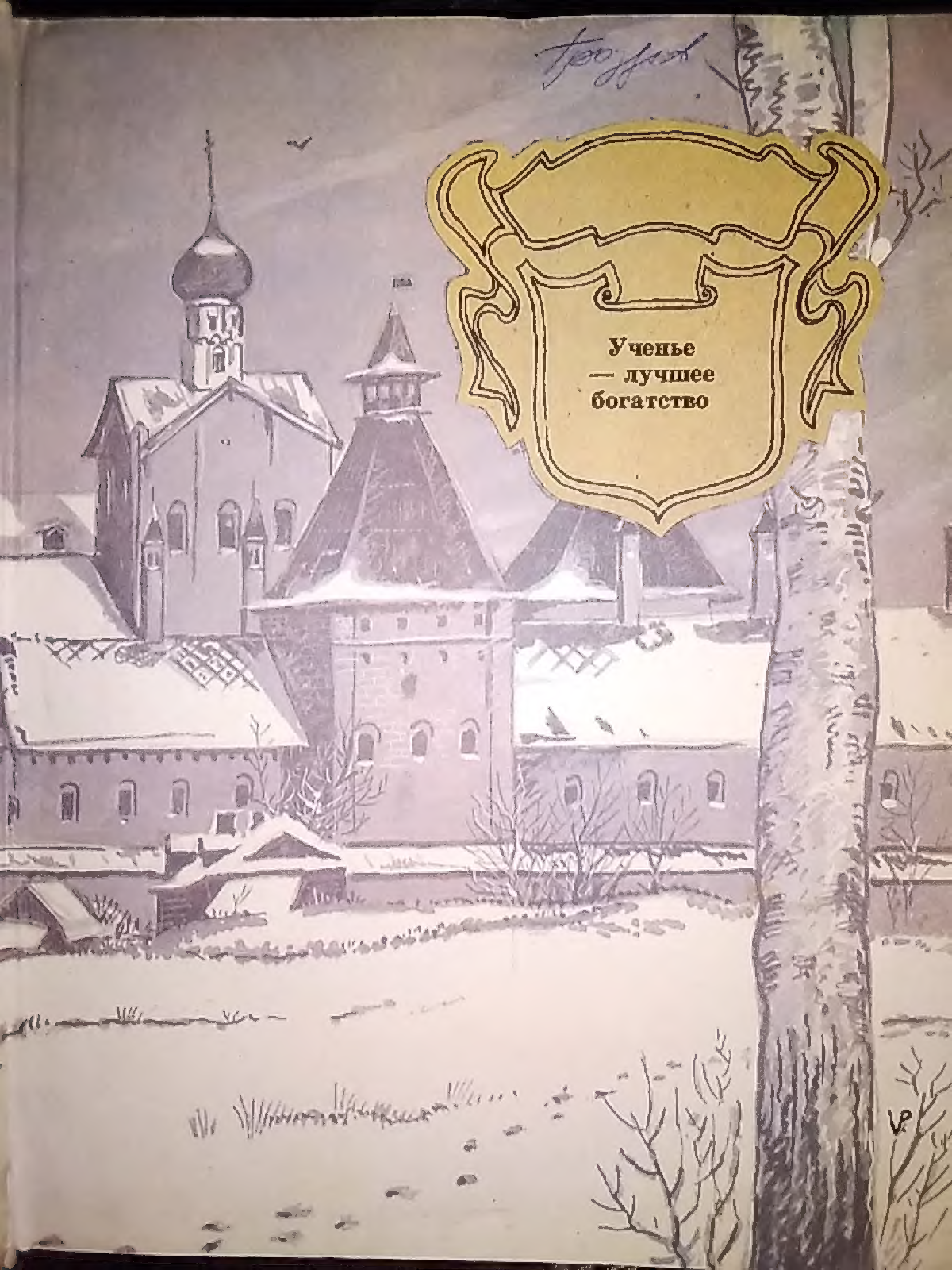

Родная речь
Книга 3
часть 2




Ученье
— лучшее
богатство



Родная речь

УЧЕБНИК ПО ЧТЕНИЮ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В трёх книгах

Книга 3



В двух частях

Часть 2

Рекомендовано
Министерством образования
Российской Федерации

МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1994

ББК 81.2Р-922
Р60

Составители:
М. В. Голованова, В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова

Родная речь. Учеб. по чтению для учащихся нач. шк. В 3 кн.
Р60 Кн. 3, ч. 2 / Сост. М. В. Голованова и др.— М.: Просвещение, 1994.— 208 с., ил.— ISBN 5-09-004433-3.

Р $\frac{4306020200-256}{103(03)-94}$ БЗ 1994 / 95, № 27

ББК 81.2Р-922

ISBN 5-09-004433-3 (ч. 2)
5-09-004434-1



Твоя книжная полка



СТРАНА ДАЛЁКОГО ДЕТСТВА.

Иван Сергеевич Шмелёв.
(1873—1950)

ЕГОРЬЕВ ДЕНЬ[1].
(Отрывок.)

И вот, в самый Егорьев день, на зорьке, ещё до солнышка, впервые в своей жизни, радостно я услышал, как хорошо заиграл рожок. Это пастух, который живёт напротив,— не деревенский простой пастух, а городской, богатый, собственный дом какой,— вышел на мостовую перед домом и заиграл. У него четверо пастухов-подручных, они и коров гоняют, а он только играет для почину, в Егорьев день. И все по улице выходят смотреть — послушать, как старик хорошо играет. В это утро играл он «в последний раз»,— сам так и объявил. Это уж после он объявил, как поиграл. Спрашивали его, почему так — впоследок. «Да так...— говорит,— будя,

[1] Егорьев день — 6 мая, день святого великомученика Георгия (Егорий — русский вариант имени Георгий). Св. Георгий является покровителем домашнего скота.

наигрался...» Невесело так сказал. Сказал уж после, как случилась история...

И все хвалили старого пастуха, так все и говорили: «вот какой приверженный человек... любит своё дело, хоть и богат стал, и гордый... а делу уступает». Тогда я всего не понял.

В то памятное утро смотрел и я в открытое окно залы, прямо с тёплой постели, в одеяльце, подрагивая от холодка зари.

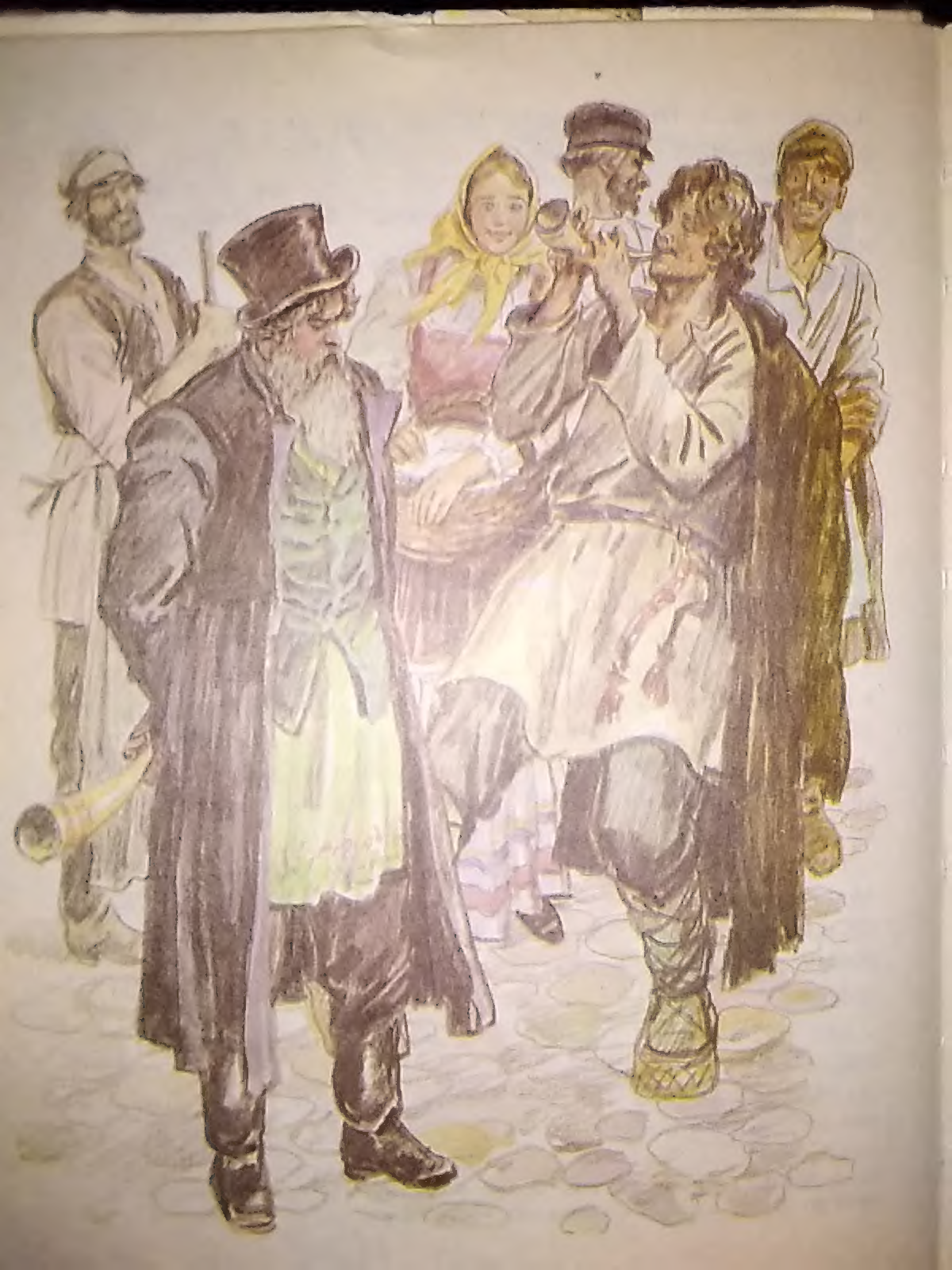
Улица была залита розоватым светом встававшего за домами солнца, поблёскивали верхние окошки. Вот, отворились дикие ворота пастухова двора, и старый, седой пастух-хозяин, в новой синей поддёвке, в помазанных дёгтем сапогах и в высокой шляпе, похожей на цилиндр, что надевают щёголи-шафера́[1] на свадьбах, вышел на середину ещё пустынной улицы, поставил у ног на камушки свою шляпу, покрестился на небо за нашим домом, приложил обеими руками длинный рожок к губам, надул толстые розовые щёки,— и я вздрогнул от первых звуков: рожок заиграл так громко, что даже в ушах задребезжало. Но это было только сначала так. А потом заиграл тоньше, разливался и замирал. Потом стал забирать всё выше, жальчей, жальчей...— и вдруг заиграл весёлое... и мне стало раздольно-весело, даже и холодка не слышал. Замычали вдали коровы, стали подбираться помаленьку. А пастух всё стоял — играл. Он играл в небо за нашим домом, словно забыв про всё, что было вокруг него. Когда обрывалась песня, и пастух переводил дыханье, слышались голоса на улице:

— Вот это ма-стер!.. вот доказал-то себя Пахомыч!.. мастер... И откуда в нём духу столько!..

Мне показалось, что пастух это тоже слышит и понимает, и это ему приятно. Вот тут-то и случилась история.

---

[1] Ша́фер — участник церковного свадебного обряда, который держит во время венчания венец над головой жениха или невесты.



С пастухова дома вышел вчерашний парень, который заходил к нам, в шляпе с петушьим пёрышком, остановился за стариком и слушал. Я на него залюбовался. Красив был старый пастух, высокий, статный. А этот был повыше, стройный и молодой, и было в нём что-то смелое, и будто он слушает старика прищурясь,— что-то усмешливое — лихое. Так по его лицу казалось. Когда кончил играть старик, молодец поднял ему шляпу.

— А теперь, хозяин, дай поиграю я...— сказал он, неторопливо вытаскивая из пазухи небольшой рожок,— послушают твои коровки, поприучаются.

— Ну, поиграй Ваня...— сказал старик,— послушаю твои песни.

Проходили коровы, всё гуще, гуще. Старый пастух помахал подручным, чтобы занимались своим делом, а парень подумал что-то над своей дудочкой, тряхнул головой и начал...

Рожок его был негромкий, мягкий. Играл он жалобное, разливное,— не старикову, другую песню, такую жалостливую, что щемило сердце. Приятно, сладостно было слушать,— так бы вот и слушал. А когда доиграл рожок, доплакался до того, что дальше плакаться сил не стало,— вдруг перешёл на такую лихую плясовую, пошёл так дробить и перебирать, ёрзать и перехватывать, что и сам певун в лапотках заплясал, и старик заиграл плечами, и Гришка, стоявший на мостовой с метёлкой, пустился выделывать ногами. И пошла плясать улица и ухать, пошло такое...— этого и сказать нельзя. Смотревшая из окошка Маша свалила на улицу горшок с геранью, так её раззадорило,— все смеялись. А певун выплясывал лихо в лапотках, под дудку, и упала с его плеча сермяга. Тут и произошла история...

Старый пастух хлопнул по спине парня и крикнул на всём народе:

— И откуда у тебя, подлеца, такая душа-сила! Шабаш, больше играть не буду, играй один!

И разбил свой рожок об мостовую.

Из книги «Лето Господне».

Владимир Владимирович Набоков.
(1899—1977)

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ.

Как-то, играя на пляже, я оказался действующим лопаткой рядом с французской девочкой Колетт... Она важно обратила моё внимание на зазубренный осколок фиолетовой раковинки, оцарапавшей её узкую, длиннопалую ступню... В её светло-зеленоватых глазах располагались по кругу зрачка рыжие крапинки, словно переплавляющаяся вплавь часть веснушек, которыми было усыпано её несколько эльфовое, изящное, курносенькое лицо...

За два месяца пребывания в Биаррице моя страсть к этой девочке едва ли не превзошла увлечения бабочками. Я видел её только на пляже, но мечталось мне о ней беспрестанно. Если она являлась заплаканной, то во мне вскипало беспомощное страдание. Я не мог перебить комаров, искусавших её тоненькую шею, но зато удачно отколотил рыжего мальчика, однажды обидевшего её. Она мне совала горсточками тёплые от её ладони леденцы. Как-то мы оба наклонились над морской звездой, витые концы её локонов защекотали мне ухо, и вдруг она поцеловала меня в щеку. От волнения я мог только пробормотать: «You little monkey»[1].

У меня была золотая монета, луидор, и я не сомневался, что этого хватит на побег. Куда же я собирался Колетт увезти? В Испанию? В Америку? В горы над По?.. Помню странную, совершенно взрослую, прозрачно-бессонную ночь: я

---

[1] «Ах ты обезьянка» (*англ.*).



лежал в постели, прислушивался к повторному буханью океана и составлял план бегства. Океан приподнимался, слепо шарил в темноте и тяжело падал ничком.

Из романа «Другие берега».

БАБОЧКИ.

Сыздетства утренний блеск в окне говорил мне одно, и только одно: есть солнце — будут и бабочки. Началось всё это, когда мне шёл седьмой год, и началось с довольно банального случая. На персидской сирени у веранды флигеля я увидел первого своего махаона — до сих пор аоническое обаяние этих голых гласных наполняет меня каким-то восторженным гулом! Великолепное, бледно-жёлтое животное в чёрных и синих ступенчатых пятнах, с попугаячьим глазком над каждой из парных чёрно-палевых шпор, свешивалось с наклонённой малиново-лиловой грозди и, упиваясь ею, всё время судорожно хлопало своими громадными крыльями. Я стонал от желания. Один из слуг... ловко поймал бабочку в форменную фуражку, и эта фуражка с добычей была заперта в платяной шкап, где пленнице полагалось за ночь умереть от нафталина; но когда на другое утро Mademoiselle отперла шкап, чтобы взять что-то, бабочка, с мощным шорохом, вылетела ей в лицо, затем устремилась к растворённому окну, и вот, ныряя и рея, уже стала превращаться в золотую точку, и всё продолжала лететь на восток, над тайгой и тундрой, на Вологду, Вятку и Пермь, а там — за суровый Урал, через Якутск и Верхнеколымск, а из Верхнеколымска — где она потеряла одну шпору — к прекрасному острову Св. Лаврентия, и через Аляску на Доусон, и на юг, вдоль Скалистых Гор, где наконец, после сорокалетней погони, я настиг её...

Анастасия Ивановна Цветаева. (1894—1993)

ДЕТСТВО

Пасхальная ночь! Все уходили из дома, дети оставались одни с няней и гувернанткой. Ночь была — как пещера: пустая, но полная ожиданием часа, когда прокатится над Москвой и Москвой-рекой первый удар колокола, с колокольни Ивана Великого...

Припав к окнам с открытыми форточками и подрагивая от холода, мы, тайно или с доброго разрешения, вскочив с постелей, ждали, когда вспыхнет кремлёвским заревом темнота над крышами Палашевского переулка. Тогда и свой голос подаст оттуда ближняя наша церковка.



Но на дворе раздавались голоса и шаги, и мы, забыв запрет, сон, всё, — кидались навстречу объятьям, Пасхе, куличу и подаркам. И свежий, весенний, пахнущий землёй воздух, ворвавшийся со двора со взрослыми!

Бледным золотом апрельских лучей наводнённая зала, парадно накрыт стол, треугольник (как ёлка) творожной пасхи, боярскими шапками (бобрового меха!) куличи, горшки гиацинтов, густо пахнущих, как только сирень умеет, и таких невероятных окрасок, точно их феерическая розовость, фиолетовость, голубизна — приснилась. Но они стоят на столе! Ярмарочное цветение крашеных яиц, и огромный, сердоликом (чуть малиновее) окорок ветчины.

* * *

Но помню *настоящее* горе: придя домой, мы узнали, что в наше отсутствие мать отдала в фургон для бедных детей — наших обожаемых лошадей: вороную — Андрюшину, гнедую — Мусину и без названия цвета, белёсую, некогда со светло-жёлтыми волосами, ростом мне выше пояса — мою Палладу.

Никакие увещания не помогли. Никакие «бедные дети», «у них совсем нет игрушек, а ваши лошади уже старые, их уже с чердака сняли...».

Мать была потрясена нашим горем. Пробы нас устыдить, укоры в жадности — не помогли: мы ревели в три ручья. Мы бегали на чердак — дышали пылью опустевших конюшен, прощались навеки — заочно. Как должны были полюбить наших коней те, чужие, бедные приютские дети, чтобы перекрыть наше горе!..

* * *

Пожилая, неуклюжая из-за толщины, вся какая-то квадратная, фрейлейн Преториус не поспевала за нами и была

возле нас — один сплошной вздох, но в минуту опасности отличилась неожиданным мужеством. Прямо на неё, расположившуюся с нами на бугорке под берёзами, бежала откуда ни возьмись бешеная собака: пена у рта, опущенный хвост — но крепкая ещё рука Преториус нанесла ей по голове удар мирным толстеннейшим словарём,— и собака — от неожиданности, что ли?— побежала дальше. Это возвысило фрейлейн в наших глазах. Но собаку было жаль: побили, да ещё бешеная!..

* * *

Роясь под нижним балконом, я, не веря глазам, нашла свой потерянный, прошлогодний мяч... О нём было с т о л ь к о слёз! Кочерга долго гоняла его под домом, в отдушину... не выкатила! О с т а л с я там! Не верю счастью: он т у т! Чуть сырой, но в е с ь целый, круглый, тугой, м о й! Не лопнул! Он мок, мёрз, один, целую зиму!.. Сам выкатился? Я прижала и глажу его, нюхаю (оглядываюсь — никто не видит?), пробую чуть на язык... Неужели может быть б о л ь ш е е счастье? Не может!.. «Де-ти, где вы?— Лёрин голос из окна,— ужинать!» По клавишам, перегоняя друг друга, мамины руки. Мама играет! Ноги бегут по балконной лестнице — сами собой...

Из «Воспоминаний».

Борис Константинович Зайцев. (1881—1972)

ДОМАШНИЙ ЛАР[1].

Он родился в усадьбе, зимой, третьим сыном чёрной кухарки. Мать была ему не очень рада и не очень не рада. Как и все в деревне, должен был он произрастать естественно; а там — что Бог пошлёт. Он и произрастал. Сколько нужно — кричал; сколько нужно — сосал; и думалось, во всём пойдёт по стопам братьев — бойких и живых ребят.

Но на третьем году выяснилось, что он не ходит; минуло четыре, пять, он не говорил, лишь начал ползать, выгибая дугой ноги. Глаз его смотрел вбок — не плохой, карий глаз, но выдавал вырождение. Мать тужила. Было жаль, что из него не выйдет работника, как из Серёжи или Алексея. Но, по русско-бабьей склонности, любила она его больше, чем других, жалела. Старшие росли быстро. Они вели жизнь деревенских ребят, зимой гоняли на салазках, летом ловили в речке раков, мучили птиц, кошек. Младший же сидел на печке, сиднем, как Илья Муромец. Он почти не рос. Время неслось над ним незаметно. Весь его мир — печка, мамка да несколько звуков, неизвестно что значивших. Но это же время, сделавшее братьев крепкими мальчуганами, вывело и его на улицу. Сначала робко, боясь упасть, ковылял он в братиных валенках; потом окреп, стал ходить, даже бегать. Гимназический картуз явился на голове, взор повеселел; к семи годам с победным криком мог он носиться по усадьбе, волоча рогожу, дохлую ворону — босой, в коротких штанишках, рваной кацавейке; она пестрела красными дырами.

---

[1] Лар — по древним верованиям людей, дух — покровитель места их обитания.



К нему привыкли, даже полюбили. Нравом он смирен, оживлён, хотя обидчив. Иногда мать подшлёпнет его, он рыдает, но тогда белая кухарка даст ситного — горе забыто. Он бегает целый день, летом. На всех путях в усадьбе можно его встретить. Он говорит мужчинам «папа», снимает картуз; женщины все «мамы». У него есть свой язык, полуптичий, полузвериный; верно, самые первые люди на земле так говорили. Когда слов не хватает — изобразит жестом, действием: присядет, пробежит, помычит по-коровьи или побрешет. Замечательно умеет куковать. Лучше всех понимают его дети. Он рыцарь барской девочки. Ей четыре года, ему восемь. Ростом они одинаковы; говорит она бойко, о чём угодно; он — лишь с ней. Она понимает такие фразы:

Он (указывая на отца): «бахи-махи, лу (подымается на цыпочках, к небу), э-э».

Значит: «пусть папа влезет на дерево, пилить ветки». Он её неизменный спутник, кавалер, телохранитель; он ей рвёт цветы, собирает грибы; когда нужно, целомудренно отвёртывается; весело и покорно возит её в колясочке, работы деда; отгоняет гусей, зовёт маму, всё свершает ясно и толково, что она ни скажет. И одна есть у него скромная, дневная радость: когда на балконе пьют чай, он является, снимает гимназический картуз и тихо говорит: «хай». Ему дают большую чашку жиденького чая: он прилаживается на лестнице; голова его коротко острижена, лёгкими вавилонами; в руке он держит блюдце, дует, закусывает кусочком сахара, и блаженство можно прочесть на его лице. Выпив, подаёт чашку снова; ему опять наливают, как прочно заведено,— точно маленькому домашнему божку, нехитрому дару древних. Он выпивает четыре, пять чашек и, когда больше не хочет, положит чашку набок, как принято в людской. Он уйдёт. Но куда бы ни выйти, всюду его встретишь; как настоящий обладатель усадьбы, он кружит по ней; иногда дразнит индюков или вытаскивает гвозди; и будто бы он ничего не делает, но он живёт, он часть общей жизни; он скажет вам что-нибудь на своём языке, засмеётся и убежит, повинуясь собственным настроениям. Он веселится, если сказать ему на его же наречии: «бахи баха» — слова неизвестные, загадочные.

И иногда в дни тяжкие, когда все взрослые, да и весь, кажется, мир подавлен,— бывает радостно видеть, как маленький человек беззаботен и счастлив куском пирога, булкой, конфеткой; легче сердцу, когда видишь, как ведёт он домой девочку, как хохочет, везя её в коляске. И верно, правы были древние, обожествившие мелкие существа домашней жизни, далёкой от ужаса мирового; смутно чувствуем это мы всегда; потому и не жаль лишнего пряника — как не жалели его две тысячи лет назад.

Что ждёт его впереди? Будет ли он деревенским дурачком, юродивым, усердным молельщиком в церкви, раньше всех

являющимся? Или просто пахарем родных нив? Может быть — пильщиком, плотником в артели, работящим и толковым, но — немым, посмешищем девок, неудачником в романах?

Время, медленно ведущее его, покажет. А пока — он наш маленький домашний лар, покровитель и охранитель мирной жизни. Как вчера — нынче явится он за возлиянием и завтра. Нынче, завтра и послезавтра — его получит.

Из рассказа «Люди Божии».

Павел Петрович Бажов.
(1879—1950)

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ.

Жил на нашем заводе старик один, по прозвищу Кокованя. Семьи у Кокований не осталось, он и придумал взять в дети сиротку. Спросил у соседей,— не знают ли кого, а соседи и говорят:

— Недавно на Глинке осиротела семья Григория Потопаева. Старших-то девчонок приказчик велел в барскую рукодельню взять, а одну девчоночку по шестому году никому не надо. Вот ты и возьми её.

— Несподручно мне с девчонкой-то. Парнишечко бы лучше. Обучил бы его своему делу, пособника бы растить стал. А с девчонкой как? Чему я её учить-то стану?

Потом подумал-подумал и говорит:

— Знавал я Григорья, да и жену его тоже. Оба весёлые, да ловкие были. Если девчоночка по родителям пойдёт, не

тоскливо с ней в избе будет. Возьму её. Только пойдёт ли?

Соседи объясняют:

— Плохое житьё у неё. Приказчик избу Григорьеву отдал какому-то горюну и велел за это сиротку кормить, пока не подрастёт. А у того своя семья больше десятка. Сами не досыта едят. Вот хозяйка и взъедается на сиротку, попрекает её куском-то. Та хоть и маленькая, а понимает. Обидно ей. Как не пойдёт от такого житья! Да и уговоришь поди-ко.

— И то правда,— отвечает Кокованя,— уговорю как-нибудь.

В праздничный день и пришёл он к тем людям, у кого сиротка жила. Видит — полна изба народу, больших и маленьких. На голбчике[1], у печки, девчоночка сидит, а рядом с ней кошка бурая. Девчоночка маленькая, и кошка маленькая и до того худая да ободранная, что редко кто такую в избу пустит. Девчоночка эту кошку гладит, а она до того звонко мурлычет, что по всей избе слышно.

Поглядел Кокованя на девчоночку и спрашивает:

— Это у вас Григорьева-то подарёнка?

Хозяйка отвечает:

— Она самая. Мало одной-то, так ещё кошку драную где-то подобрала. Отогнать не можем. Всех моих ребят перецарапала, да и ещё корми её!

Кокованя и говорит:

— Неласковые, видно, твои ребята. У ней вон мурлычет.

Потом и спрашивает у сиротки:

— Ну, как, подарёнушка, пойдёшь ко мне жить?

Девчоночка удивилась:

— Ты, дедо, как узнал, что меня Дарёнкой зовут?

— Да так,— отвечает,— само вышло. Не думал, не гадал, нечаянно попал.

— Ты хоть кто?— спрашивает девчоночка.

---

[1] Го́лбчик — приступка для всхода на печь.

— Я,— говорит,— вроде охотника. Летом пески промываю, золото добываю, а зимой по лесам за козлом бегаю, да всё увидеть не могу.

— Застрелишь его?

— Нет,— отвечает Кокованя.— Простых козлов стреляю, а этого не стану. Мне посмотреть охота, в котором месте он правой передней ножкой топнет.

— Тебе на что это?

— А вот пойдёшь ко мне жить, так всё и расскажу,— отвечает Кокованя.

Девчоночке любопытно стало про козла-то узнать. И то видит — старик весёлый да ласковый. Она и говорит:

— Пойду. Только ты эту кошку Мурёнку тоже возьми. Гляди, какая хорошая.

— Про это,— отвечает Кокованя,— что и говорить. Такую звонкую кошку не взять — дураком остаться. Вместо балалайки она у нас в избе будет.

Хозяйка слышит их разговор. Рада-радёхонька, что Кокованя сиротку к себе зовёт. Стала скорей Дарёнкины пожитки собирать. Боится, как бы старик не передумал.

Кошка будто тоже понимает весь разговор. Трётся у ног-то да мурлычет:

— Пр-равильно придумал. Пр-равильно.

Вот и повёл Кокованя сиротку к себе жить.

Сам большой да бородатый, а она махонькая и носишко пуговкой. Идут по улице, а кошчонка ободранная за ними подпрыгивает.

Так и стали жить вместе дед Кокованя, сиротка Дарёнка да кошка Мурёнка. Жили-поживали, добра много не наживали, а на житьё не плакались, и у всякого дело было.

Кокованя с утра на работу уходил, Дарёнка в избе прибирала, похлёбку да кашу варила, а кошка Мурёнка на охоту ходила — мышей ловила. К вечеру соберутся, и весело им.

Старик был мастер сказки сказывать. Дарёнка любила те сказки слушать, а кошка Мурёнка лежит да мурлычет:

— Пр-равильно говорит. Пр-равильно.

Только после всякой сказки Дарёнка напомнит:

— Дедо, про козла-то скажи. Какой он?

Кокованя отговаривался сперва, потом и рассказал:

— Тот козёл особенный. У него на правой передней ноге серебряное копытце. В каком месте топнет этим копытцем — там и появится дорогой камень. Раз топнет — один камень, два топнет — два камня, а где ножкой бить станет — там груда дорогих камней.

Сказал это, да и не рад стал. С той поры у Дарёнки только и разговору, что об этом козле.

— Дедо, а он большой?

Рассказал ей Кокованя, что ростом козёл не выше стола, ножки тоненькие, голова легонькая.

А Дарёнка опять спрашивает:

— Дедо, а рожки у него есть?

— Рожки-то,— отвечает,— у него отменные. У простых козлов на две веточки, а у него на пять веток.

— Дедо, а он кого ест?

— Никого, — отвечает,— не ест. Травой да листиком кормится. Ну, сено тоже зимой в стожках подъедает.

— Дедо, а шёрстка у него какая?

— Летом,— отвечает,— буренькая, как вот у Мурёнки нашей, а зимой серенькая.

— Дедо, а он душной?

Кокованя даже рассердился:

— Какой же душной! Это домашние козлы такие бывают, а лесной козёл, он лесом и пахнет.

Стал осенью Кокованя в лес собираться. Надо было ему поглядеть, в которой стороне козлов больше пасётся. Дарёнка и давай проситься:

— Возьми меня, дедо, с собой. Может, я хоть сдалека того козлика увижу.

Кокованя и объясняет ей:

— Сдалека-то его не разглядишь. У всех козлов осенью рожки есть. Не разберёшь, сколько на них веток. Зимой — вот — дело другое. Простые козлы безрогие ходят, а этот, Серебряное копытце, всегда с рожками, хоть летом, хоть зимой. Тогда его сдалека признать можно.

Этим и отговорился. Осталась Дарёнка дома, а Кокованя в лес ушёл.

Дней через пять воротился Кокованя домой, рассказывает Дарёнке:

— Ныне в Полдневской стороне много козлов пасётся. Туда и пойду зимой.

— А как же,— спрашивает Дарёнка,— зимой-то в лесу ночевать станешь?

— Там,— отвечает, — у меня зимний балаган у покосных ложков[1] поставлен. Хороший балаган, с очагом, с окошечком. Хорошо там.

Дарёнка опять спрашивает:

— Серебряное копытце в той же стороне пасётся?

— Кто его знает. Может, и он там.

Дарёнка тут и давай проситься:

— Возьми меня, дедо, с собой. Я в балагане сидеть буду. Может, Серебряное копытце близко подойдёт,— я и погляжу.

Старик сперва руками замахал:

— Что ты! Что ты! Статочное ли дело зимой по лесу маленькой девчонке ходить! На лыжах ведь надо, а ты не умеешь. Угрузнешь в снегу-то. Как я с тобой буду? Замёрзнешь ещё!

Только Дарёнка никак не отстаёт:

— Возьми, дедо! На лыжах-то я маленько умею.

---

[1] Покосные ложки — широкие, пологие овраги, покрытые травой.

Кокованя отговаривал-отговаривал, потом и подумал про себя:

«Сводить разве? Раз побывает, в другой раз не запросится». Вот он и говорит:

— Ладно, возьму. Только, чур, в лесу не реветь и домой до времени не проситься.

Как зима в полную силу вошла, стали они в лес собираться.

Уложил Кокованя на ручные санки сухарей два мешка, припас охотничий и другое, что ему надо. Дарёнка тоже узелок себе навязала. Лоскуточков взяла кукле платье шить, ниток клубок, иголку да ещё верёвку.

«Нельзя ли,— думает,— этой верёвкой Серебряное копытце поймать?»

Жаль Дарёнке кошку свою оставлять, да что поделаешь. Гладит кошку-то на прощанье, разговаривает с ней:

— Мы, Мурёнка, с дедом в лес пойдём, а ты дома сиди, мышей лови. Как увидим Серебряное копытце, так и воротимся. Я тебе тогда всё расскажу.

Кошка лукаво посматривает, а сама мурлычет:

— Пр-равильно придумала. Пр-равильно.

Пошли Кокованя с Дарёнкой. Все соседи дивуются:

— Из ума выжился старик! Такую маленькую девчонку в лес зимой повёл!

Как стали Кокованя с Дарёнкой из заводу выходить, слышат — собачонки что-то сильно забеспокоились. Такой лай да визг подняли, будто зверя на улицах увидали. Оглянулись,— а это Мурёнка серединой улицы бежит, от собак отбивается. Мурёнка к той поре поправилась. Большая да здоровая стала. Собачонки к ней и подступиться не смеют.

Хотела Дарёнка кошку поймать да домой унести, только где тебе! Добежала Мурёнка до лесу, да и на сосну. Пойди поймай!

Покричала Дарёнка, не могла кошку приманить. Что де-

лать? Пошли дальше. Глядят — Мурёнка стороной бежит. Так и до балагана добралась.

Вот и стало их в балагане трое. Дарёнка хвалится:

— Веселее так-то.

Кокованя поддакивает:

— Известно, веселее.

А кошка Мурёнка свернулась клубочком у печки и звонко мурлычет:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Козлов в ту зиму много было. Это простых-то. Кокованя каждый день то одного, то двух к балагану притаскивал. Шкурок у них накопилось, козлиного мяса насолили — на ручных санках не увезти. Надо бы в завод за лошадью сходить, да как Дарёнку с кошкой в лесу оставить! А Дарёнка попривыкла в лесу-то. Сама говорит старику:

— Дедо, сходил бы ты в завод за лошадью. Надо ведь солонину домой перевезти.

Кокованя даже удивился:

— Какая ты у меня разумница, Дарья Григорьевна! Как большая рассудила. Только забоишься поди одна-то.

— Чего,— отвечает,— бояться. Балаган у нас крепкий, волкам не добиться. И Мурёнка со мной. Не забоюсь. А ты поскорее ворочайся всё-таки!

Ушёл Кокованя. Осталась Дарёнка с Мурёнкой. Днём-то привычно без Коковани сидеть, пока он козлов выслеживал... Как темнеть стало, запобаивалась. Только глядит — Мурёнка лежит спокойнёхонько. Дарёнка и повеселела. Села к окошечку, смотрит в сторону покосных ложков и видит — в лесу какой-то комочек катится. Как ближе подкатился, разглядела — это козёл бежит. Ножки тоненькие, головка лёгонькая, а на рожках по пяти веточек.

Выбежала Дарёнка поглядеть, а никого нет. Воротилась да и говорит:

— Видно, задремала я. Мне и показалось.

Муренка мурлычет:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Легла Даренка рядом с кошкой, да и уснула до утра.

Другой день прошёл. Не воротился Кокованя. Скучненько стало Дарёнке, а не плачет. Гладит Мурёнку да приговаривает:

— Не скучай, Мурёнушка! Завтра дед непременно придёт.

Мурёнка свою песенку поёт:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Посидела опять Дарёнушка у окошка, полюбовалась на звёзды. Хотела спать ложиться, вдруг по стенке топоток прошёл. Испугалась Дарёнка, а топоток по другой стене, потом по той, где окошечко, потом — где дверка, а там и сверху запостукивало. Не громко, будто кто лёгонький да быстрый ходит. Дарёнка и думает:

«Не козёл ли тот вчерашний прибежал?»

И до того ей захотелось поглядеть, что и страх не держит. Отворила дверку, глядит, а козёл — тут, вовсе близко. Правую переднюю ножку поднял — вот топнет, а на ней серебряное копытце блестит, и рожки у козла о пяти ветках. Дарёнка не знает, что ей делать, да и манит его как домашнего:

— Ме-ка! Ме-ка!

Козёл на это как рассмеялся. Повернулся и побежал.

Пришла Дарёнушка в балаган, рассказывает Мурёнке:

— Поглядела я на Серебряное копытце. И рожки видела и копытце видела. Не видела только, как тот козлик ножкой дорогие камни выбивает. Другой раз, видно, покажет.

Мурёнка знай свою песенку поёт:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Третий день прошёл, а всё Коковани нет. Вовсе затуманилась Дарёнка. Слёзки запокапывали. Хотела с Мурёнкой поговорить, а её нет. Тут вовсе испугалась Дарёнушка, из балагана выбежала кошку искать.



Ночь месячная, светлая, далеко видно. Глядит Дарёнка — кошка близко на покосном ложке сидит, а перед ней козёл. Стоит, ножку поднял, а на ней серебряное копытце блестит.

Мурёнка головой покачивает, и козёл тоже. Будто разговаривают. Потом стали по покосным ложкам бегать. Бежит-бежит козёл, остановится и давай копытцем бить. Мурёнка подбежит, козёл дальше отскочит и опять копытцем бьёт. Долго они так-то по покосным ложкам бегали. Не видно их стало. Потом опять к самому балагану воротились.

Тут вспрыгнул козёл на крышу и давай по ней серебряным копытцем бить. Как искры, из-под ножки-то камешки посыпались. Красные, голубые, зелёные, бирюзовые — всякие.

К этой поре как раз Кокованя и вернулся. Узнать своего балагана не может. Весь он как ворох дорогих камней стал. Так и горит — переливается разными огнями. Наверху козёл стоит — всё бьёт да бьёт серебряным копытцем, а камни сыплются да сыплются. Вдруг Мурёнка скок туда же. Встала рядом с козлом, громко мяукнула, и ни Мурёнки, ни Серебряного копытца не стало.

Кокованя сразу полшапки камней нагрёб, да Дарёнка запросила:

— Не тронь, дедо! Завтра днём ещё на это поглядим.

Кокованя и послушался. Только к утру-то снег большой выпал. Все камни и засыпало. Перегребали потом снег-то, да ничего не нашли. Ну, им и того хватило, сколько Кокованя в шапку нагрёб.

Всё бы хорошо, да Мурёнки жалко. Больше её так и не видели, да и Серебряное копытце тоже не показался. Потешил раз — и будет.

А по тем покосным ложкам, где козёл скакал, люди камешки находить стали. Зелёненькие больше. Хризолитами называются. Видали?

Борис Степанович Житков. (1882—1938)

КАК Я ЛОВИЛ ЧЕЛОВЕЧКОВ.

Когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке. У бабушки над столом была полка. А на полке пароходик. Я такого никогда не видал. Он был совсем настоящий, только маленький. У него была труба: жёлтая и на ней два чёрных пояса. И две мачты. А от мачт шли к бортам верёвочные лесенки. На корме стояла будочка, как домик. Полированная, с окошечками и дверкой. А уж совсем на корме — медное рулевое колесо. Снизу под кормой — руль. И блестел перед рулём винт, как медная розочка. На носу два якоря. Ах, какие замечательные! Если бы хоть один у меня такой был!

Я сразу запросил у бабушки, чтоб поиграть с пароходиком. Бабушка мне всё позволяла. А тут вдруг нахмурилась:

— Вот это уж не проси. Не то что играть — трогать не смей. Никогда! Это для меня дорогая память.

Я видел, что, если и заплакать — не поможет.

А пароходик важно стоял на полке на лакированных подставках. Я глаз от него не мог оторвать.

А бабушка:

— Дай честное слово, что не прикоснёшься. А то лучше спрячу-ка от греха.

И пошла к полке.

Я чуть не заплакал и крикнул всем голосом:

— Честное, расчестное, бабушка! — и схватил бабушку за юбку.

Бабушка не убрала пароходика.

Я всё смотрел на пароходик. Влезал на стул, чтоб лучше видеть. И всё больше и больше он мне казался настоящим.

И непременно должна дверца в будочке отворяться. И наверно, в нём живут человечки. Маленькие, как раз по росту пароходика. Выходило, что они должны быть чуть ниже спички. Я стал ждать, не поглядит ли кто из них в окошечко. Наверно, поглядывают. А когда дома никого нет, выходят на палубу. Лазят, наверно, по лестничкам на мачты.

А чуть шум — как мыши: юрк в каюту. Вниз — и притаятся. Я долго глядел, когда был в комнате один. Никто не выглянул. Я спрятался за дверь и глядел в щёлку. А они, хитрые человечки, знают, что я подглядываю. Ага! Они ночью работают, когда никто их спугнуть не может. Хитрые.

Я стал быстро-быстро глотать чай. И запросился спать.

Бабушка говорит:

— Что это? То тебя силком в кровать не загонишь, а тут в этакую рань и спать просишься.

И вот, когда улеглись, бабушка погасила свет. И не видно пароходика. Я ворочался нарочно, так что кровать скрипела.

Бабушка:

— Чего ты всё ворочаешься?

— А я без света спать боюсь. Дома всегда ночник зажигают.— Это я наврал: дома ночью темно.

Бабушка ругалась, однако встала. Долго ковырялась и устроила ночник. Он плохо горел. Но всё же было видно, как блестел пароходик на полке.

Я закрылся одеялом с головой, сделал себе домик и маленькую дырочку. А из дырочки глядел, не шевелясь. Скоро я так присмотрелся, что на пароходике мне всё стало отлично видно. Я долго глядел. В комнате было совсем тихо. Только часы тикали. Вдруг что-то тихонько зашуршало. Я насторожился — шорох этот на пароходике. И вот будто дверка приоткрылась. У меня дыхание спёрло. Я чуть двинулся вперёд. Проклятая кровать скрипнула. Я спугнул человечка!

Теперь уж нечего было ждать, и я заснул. Я с горя заснул.

На другой день я вот что придумал. Человечки, наверно же, едят что-нибудь. Если дать им конфетку, так это для них целый воз. Надо отломить от леденца кусок и положить на пароходик, около будочки. Около самых дверей. Но такой кусок, чтобы сразу в их дверцы не пролез. Вот и ночью двери откроют, выглянут в щёлочку. Ух ты! Конфетища! Для них это — как ящик целый. Сейчас выскочат, скорей конфетину к себе тащить. Они её в двери, а она не лезет! Сейчас сбегают, принесут топорики — маленькие-маленькие, но совсем всамделишные — и начнут этими топориками тюкать: тюк-тюк! тюк-тюк! тюк-тюк! И скорей проталкивать конфетину в дверь. Они хитрые, им лишь бы всё вёртко. Чтоб не поймали. Вот они завозятся с конфетиной. Тут, если я скрипну, всё равно им не поспеть: конфетина в дверях застрянет — ни туда ни сюда. Пусть убегут, а всё равно видно будет, как они конфетину тащили. А может быть, кто-нибудь с перепугу топорик упустит. Где уж им будет подбирать! И я найду на пароходе на палубе малюсенький настоящий топорик, остренький-преостренький.

И вот я тайком от бабушки отрубил от леденца кусок, как раз такой, какой хотел. Выждал минуту, когда бабушка в кухне возилась, раз-два — на стол ногами и положил леденец у самой дверки на пароходике. Ихних полшага от двери до леденца. Слез со стола, рукавом затёр, что ногами наследил. Бабушка ничего не заметила.

Днём я тайком взглядывал на пароходик. Повела бабушка меня гулять. Я боялся, что за это время человечки утянут леденец и я их не поймаю. Я дорогой нюнил нарочно, что мне холодно, и вернулись мы скоро. Я глянул первым делом на пароходик. Леденец, как был,— на месте. Ну да! Дураки они днём браться за такое дело!

Ночью, когда бабушка заснула, я устроился в домике из одеяла и стал глядеть. На этот раз ночник горел замечательно, и леденец блестел, как льдинка на солнце, острым огонь-

ком. Я глядел, глядел на этот огонёк и заснул, как назло! Человечки меня перехитрили. Я утром глянул — леденца не было, а встал я раньше всех, в одной рубашке бегал глядеть. Потом со стула глядел — топорика, конечно, не было. Да чего же им было бросать: работали не спеша, без помехи, и даже крошечки ни одной нигде не валялось — всё подобрали.

Другой раз я положил хлеб. Я ночью даже слышал какую-то возню. Проклятый ночник еле коптел, я ничего не мог рассмотреть. Но наутро хлеба не было. Чуть только крошек осталось. Ну, понятно, им хлеба-то не особенно жалко, не конфеты: там каждая крошка для них леденец.

Я решил, что у них там на пароходике с обеих сторон идут лавки. Во всю длину. И они днём там сидят рядком и тихо шепчутся. Про свои дела. А ночью, когда все-все заснут, тут у них работа.

Я всё время думал о человечках. Я хотел взять тряпочку, вроде маленького коврика, и положить около дверей. Намочить тряпочку чернилами. Они выбегут, не заметят сразу,



ножки запачкают и наследят по всему пароходику. Я хоть увижу, какие у них ножки. Может быть, некоторые босиком, чтобы тише ступать. Да нет, они страшно хитрые и только смеяться будут над всеми моими шутками.

Я не мог больше терпеть.

И вот — я решил непременно взять пароходик и посмотреть и поймать человечков. Хоть одного. Надо только устроить так, чтобы остаться одному дома. Бабушка всюду меня с собой в гости таскала. Всё к каким-то старухам. Сиди — и ничего нельзя трогать. Можно только кошку гладить. И шушукает бабушка с ними полдня.

Вот я вижу — бабушка собирается: стала собирать печенье в коробочку для этих старух — чай там пить. Я побежал в сени, достал мои варежки вязаные и натёр себе лоб и щёки — всё лицо, одним словом. Не жалея. И тихонько прилёг на кровать.

Бабушка вдруг хватилась:

— Боря, Борюшка, где ж ты?

Я молчу и глаза закрыл. Бабушка ко мне:

— Что это ты лёг?

— Голова болит.

Она тронула лоб.

— Погляди-ка на меня! Сиди дома. Назад пойду, малины возьму в аптеке. Скоро вернусь. Долго сидеть не буду. А ты раздевайся-ка и ложись. Ложись, ложись без разговору!

Стала помогать мне, уложила, увернула одеялом и всё приговаривала: «Я сейчас вернусь, живым духом».

Бабушка заперла меня на ключ. Я выждал пять минут: а вдруг вернётся? Вдруг забыла там что-нибудь?

А потом я вскочил с постели как был, в рубахе. Я вскочил на стол, взял с полки пароходик. Сразу руками понял, что он железный, совсем настоящий. Я прижал его к уху и стал слушать: не шевелятся ли? Но они, конечно, примолкли. Поняли, что я схватил их пароход. Ага! Сидите там на лавочке и при-

молкли, как мыши. Я слез со стола и стал трясти пароходик. Они стряхнутся, не усидят на лавках, и я услышу, как они там болтаются.

Но внутри было тихо.

Я понял: они сидят на лавках, ноги поджали и руками что есть сил уцепились в сиденья. Сидят как приклеенные.

Ага! Так погодите же. Я подковырну и приподниму палубу. И вас всех там накрою. Я стал доставать из буфета столовый нож, но глаз не спускал с пароходика, чтобы не выскочили человечки. Я стал подковыривать палубу. Ух, как плотно всё заделано!

Наконец удалось немножечко подсунуть нож. Но мачты поднимались вместе с палубой. А мачтам не давали подниматься эти верёвочные лесенки, что шли от мачт к бортам. Их надо было отрезать — иначе никак. Я на миг остановился. Всего только на миг. Но сейчас же торопливой рукой стал резать эти лесенки. Пилил их тупым ножом. Готово, все они повисли, мачты свободны. Я стал ножом приподнимать палубу. Я боялся сразу делать большую щель. Они бросятся все сразу и разбегутся. Я оставил щёлку, чтобы пролезть одному. Он полезет, а я его — хлоп!— и захлопну, как жука в ладони.

Я ждал и держал руку наготове — схватить.

Не лезет ни один! Я тогда решил сразу отвернуть палубу, туда в серёдку рукой — прихлопнуть. Хоть один да попадётся. Только надо сразу: они уж там небось приготовились — откроешь, а человечки прыск все в стороны.

Я быстро откинул палубу и прихлопнул внутри рукой. Ничего. Совсем ничего! Даже скамеек этих не было. Голые борта. Как в кастрюльке. Я поднял руку. Под рукой, конечно, ничего.

У меня руки дрожали, когда я прилаживал назад палубу. Всё криво становилось. И лесенки никак не приделать. Они болтались как попало.

Я кой-как приткнул палубу на место и поставил пароходик на полку. Теперь всё пропало!

Я скорей бросился в кровать, завернулся с головой.

Слышу ключ в дверях.

— Бабушка! — под одеялом шептал я.— Бабушка, миленькая, родненькая, чего я наделал-то!

А бабушка стояла уж надо мной и по голове гладила:

— Да чего ты ревёшь, да плачешь-то чего? Родной ты мой, Борюшка! Видишь, как я скоро?

Она ещё не видала пароходика.

Константин Георгиевич Паустовский. (1892—1968)

Композитор Эдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена.

Все леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев. Но особенно хороши горные леса около моря. В них слышен шум прибоя. С моря постоянно наносит туман, и от обилия влаги буйно разрастается мох. Он свешивается с веток зелёными прядями до самой земли.

Кроме того, в горных лесах живёт, как птица пересмешник, весёлое эхо. Оно только и ждёт, чтобы подхватить звук и швырнуть его через скалы.

Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками — дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки.

Стояла осень. Если бы можно было собрать всё золото и медь, какие есть на земле, выковать из них тысячи тоненьких

2 Зак 8860 Головенкова, кн. 8, ч. 2



листьев, то они составили бы ничтожную часть того осеннего наряда, что лежал в горах. К тому же кованые листья показались бы грубыми в сравнении с настоящими, особенно с листьями осины. Всем известно, что осиновые листья дрожат даже от птичьего свиста.

— Как тебя зовут, девочка?— спросил Григ.

— Дагни Педерсен,— вполголоса ответила девочка.

Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться она не могла, потому что глаза у Грига смеялись.

— Вот беда!— сказал Григ.— Мне нечего тебе подарить. Я не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев.

— У меня есть старая мамина кукла,— ответила девочка.— Когда-то она закрывала глаза. Вот так!

Девочка медленно закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, то Григ заметил, что зрачки у неё зеленоватые и в них поблёскивает огоньками листва.

— А теперь она спит с открытыми глазами,— печально добавила Дагни.— У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю ночь кряхтит.

— Слушай, Дагни,— сказал Григ,— я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять.

Дагни даже всплеснула руками.

— Ой, как долго!

— Понимаешь, мне нужно её ещё сделать.

— А что это такое?

— Узнаешь потом.

— Разве за всю свою жизнь,— строго спросила Дагни,— вы можете сделать всего пять или шесть игрушек?

Григ смутился.

— Да нет, это не так,— неуверенно возразил он.— Я сделаю её, может быть, за несколько дней. Но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых.

— Я не разобью,— умоляюще сказала Дагни и потянула Грига за рукав.— И не сломаю. Вот увидите! У дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с неё пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка.

«Она совсем меня запутала, эта Дагни»,— подумал с досадой Григ и сказал то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми:

— Ты ещё маленькая и многого не понимаешь. Учись терпению. А теперь давай корзину. Ты её едва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о чём-нибудь другом.

Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно была тяжёлая. В еловых шишках много смолы, и потому они весят гораздо больше сосновых.

Когда среди деревьев показался дом лесника, Григ сказал:

— Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсен. В Норвегии много девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца?

— Хагеруп,— ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила:— Разве вы не зайдёте к нам? У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит вам взять её в руки.

— Спасибо. Сейчас мне некогда. Прощай, Дагни!

Григ пригладил волосы девочки и пошёл в сторону моря. Дагни, насупившись, смотрела ему вслед. Корзину она держала боком, из неё вываливались шишки.

«Я напишу музыку,— решил Григ.— На заглавном листе я прикажу напечатать:

«Дагни Педерсен — дочери лесника Хагерупа Педерсена, когда ей исполнится восемнадцать лет».

* * *

В Бергене всё было по-старому.

Всё, что могло приглушить звуки,— ковры, портьеры и мягкую мебель — Григ давно убрал из дома. Остался только старый диван. На нём могло разместиться до десятка гостей, и Григ не решался его выбросить.

Друзья говорили, что дом композитора похож на жилище дровосека. Его украшал только рояль...

Рояль мог петь обо всём — о порыве человеческого духа к великому и о любви. Белые и чёрные клавиши, убегая из-под крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом и вдруг сразу смолкали.

Тогда в тишине ещё долго звучала только одна маленькая струна, будто это плакала Золушка, обиженная сёстрами. Григ, откинувшись, слушал, пока этот последний звук не затихал на кухне, где с давних пор поселился сверчок...

Григ писал музыку для Дагни Педерсен больше месяца.

Началась зима. Туман закутал город по горло. Заржавленные пароходы приходили из разных стран и дремали у деревянных пристаней, тихонько посапывая паром.

Вскоре пошёл снег. Григ видел из своего окна, как он косо летел, цепляясь на верхушки деревьев.

Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы ни был богат наш язык...

Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с зелёными сияющими глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке.

«Спасибо!» — говорит она, сама ещё не зная, за что она благодарит его.

«Ты как солнце,— говорит ей Григ.— Как нежный ветер и раннее утро. У тебя на сердце расцвёл белый цветок и наполнил всё твоё существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал молодёжи жизнь, работу, талант. Отдал всё без возврата. Потому я, может быть, даже счастливее тебя, Дагни»...

Григ думал так и играл обо всём, что думал. Он подозревал, что его подслушивают. Он даже догадывался, кто этим занимается.

Это были синицы на дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок, снег, слетавший с нависшего неба, и Золушка в заштопанном платье.

Каждый слушал по-своему.

Синицы волновались. Как они ни вертелись, их трескотня не могла заглушить рояля.

Загулявшие матросы рассаживались на ступеньках дома и слушали, всхлипывая. Прачка разгибала спину, вытирала ладонью покрасневшие глаза и покачивала головой. Сверчок вылезал из трещины в кафельной печке и подглядывал в щёлку за Григом.

Падавший снег останавливался и повисал в воздухе, чтобы послушать звон, лившийся ручьями из дома. А Золушка смотрела, улыбаясь, на пол. Около её босых ног стояли хрус-

тальные туфельки. Они вздрагивали, сталкиваясь друг с другом, в ответ на аккорды, долетавшие из дома Грига.

Этих слушателей Григ ценил больше, чем нарядных и вежливых посетителей концертов.

* * *

В восемнадцать лет Дагни окончила школу.

По этому случаю отец отправил её погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка (отец считал её ещё девочкой, хотя Дагни была уже стройной девушкой, с тяжёлыми русыми косами) посмотрит, как устроен свет, как живут люди, и немного повеселится...

Магда работала театральной портнихой. Муж её Нильс служил в том же театре парикмахером.

Жили они в комнатушке под крышей театра...

В комнате у тётушки Магды было множество театральных вещей: парчи, шёлка, тюля, лент, кружев, старинных фетровых шляп с чёрными страусовыми перьями, цыганских шалей, седых париков, ботфортов с медными шпорами, шпаг, вееров и серебряных туфель, потёртых на сгибе. Всё это приходилось подшивать, чинить, чистить и гладить.

В комнату надо было подыматься по крутой лестнице. Там всегда пахло краской и лаком для позолоты.

* * *

Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие. Но после спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели.

Напуганная этим, тётушка Магда успокаивала Дагни. Она говорила, что нельзя слепо верить тому, что происходит на сцене. Но дядюшка Нильс... сказал, что, наоборот, в театре надо верить всему. Иначе людям не нужны были бы никакие театры. И Дагни верила.

Но всё же тётушка Магда настояла на том, чтобы пойти для разнообразия в концерт...

Был тёплый июнь. Стояли белые ночи. Концерты проходили в городском парке под открытым небом.

Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом. Она хотела надеть своё единственное белое платье. Но Нильс сказал, что красивая девушка должна быть одета так, чтобы выделяться из окружающей обстановки. В общем, длинная его речь по этому поводу сводилась к тому, что в белые ночи надо быть обязательно в чёрном, и наоборот, в тёмные сверкать белизной платья.

Переспорить Нильса было невозможно, и Дагни надела чёрное платье из шелковистого мягкого бархата. Платье это Магда принесла из костюмерной.

Когда Дагни надела это платье, Магда согласилась, что Нильс, пожалуй, прав — ничто так не оттеняло строгую бледность лица Дагни и её длинные, с отблеском старого золота косы, как этот таинственный бархат...

Концерт начался после обычного вечернего выстрела из старой пушки в порту. Выстрел означал заход солнца...

Дагни впервые слушала симфоническую музыку. Она произвела на неё странное действие. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множество картин, похожих на сны.

Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал её имя.

— Это ты меня звал, Нильс? — спросила Дагни дядюшку Нильса, взглянула на него и сразу же нахмурилась.

Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением. И так же смотрела на неё, прижав ко рту платочек, тётушка Магда.

— Что случилось? — спросила Дагни.

Магда схватила её за руку и прошептала:

— Слушай!

Тогда Дагни услышала, как человек во фраке сказал:

— Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвящённая дочери лесника Хагерупа Педерсена Дагни Педерсен по случаю того, что ей исполнилось восемнадцать лет.

Дагни вздохнула так глубоко, что у неё заболела грудь. Она хотела сдержать этим воздухом подступившие к горлу слёзы, но это не помогло. Дагни нагнулась и закрыла лицо ладонями.

Сначала она ничего не слышала. Внутри у неё шумела буря. Потом она наконец услышала, как поёт ранним утром пастуший рожок, и в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается струнный оркестр.

Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться.

Да! Это был её лес, её родина! Её горы, песни рожков, шум её моря!

Стеклянные корабли пенили воду. Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке... Дагни слышала эту песню у себя в горах.

Так, значит, это был он! Тот седой человек, что помог ей донести до дому корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Григ, волшебник и великий музыкант! И она его укоряла, что он не умеет быстро работать.

Так вот тот подарок, что он обещал сделать ей через десять лет!

Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. К

тому времени музыка заполнила всё пространство между землёй и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась лёгкая рябь. Сквозь неё светили звёзды.

Музыка уже не пела. Она звала. Звала за собой в ту страну, где солнце горит, как корона в волосах сказочной доброй волшебницы...

В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты — счастье,— говорил он.— Ты — блеск зари!»

Музыка стихла. Сначала медленно, потом всё разрастаясь, загремели аплодисменты.

Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на неё. Может быть, некоторым из слушателей пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсен, которой Григ посвятил свою бессмертную вещь.

«Он умер! — думала Дагни.— Зачем?» Если бы можно было увидеть его! Если бы он появился здесь! С каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы к нему навстречу, обняла бы его за шею, прижалась мокрой от слёз щекой к его щеке и сказала бы только одно слово: «Спасибо!» — «За что?» — спросил бы он. «Я не знаю,— ответила бы Дагни.— За то, что вы не забыли меня. За вашу щедрость. За то, что открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек...»

Михаил Михайлович Зощенко.
(1894—1958)

ЁЛКА.

В этом году мне исполнилось, ребята, сорок лет. Значит, выходит, что я сорок раз видел новогоднюю ёлку. Это много!

Ну, первые три года жизни я, наверно, не понимал, что такое ёлка. Наверно, мама выносила меня на ручках. И наверно, я своими чёрными глазёнками без интереса смотрел на разукрашенное дерево.

А когда мне, дети, ударило пять лет, то я уже отлично понимал, что такое ёлка.

И я с нетерпением ожидал этого весёлого праздника. И даже в щёлочку двери подглядывал, как моя мама украшает ёлку.

А у меня была сестрёнка Лёля. Семи лет. Очень смелая, бойкая девочка.

Она мне однажды сказала:

— Минька, мама ушла на кухню. Давай пойдём в комнату, где стоит ёлка, и поглядим, что там делается.

Вот мы с сестрёнкой Лёлей вошли в комнату. И видим: очень красивая ёлка. А под ёлкой лежали подарки. А на ёлке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, пастилки и крымские яблочки.

Моя сестрёнка Лёля говорит:

— Не будем глядеть подарки. А вместо того давай лучше съедим по одной пастилке.

И вот она подходит к ёлке и моментально съедает одну пастилку, висящую на ниточке.

Я говорю:



— Лёля, если ты съела пастилку, то я тоже сейчас что-нибудь съем.

И я подхожу к ёлке и откусываю маленький кусочек яблока.

Лёля говорит:

— Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас другую пастилку съем и вдобавок возьму себе конфету.

А Лёля была очень высокая, длинновязая девочка. И она могла высоко достать.

Она встала на цыпочки и своим большим ртом стала поедать вторую пастилку.

А я был удивительно маленького роста. И мне почти что ничего нельзя было достать, кроме одного яблока, которое висело низко.

Я говорю:

— Если ты, Лёлища, съела вторую пастилку и вдобавок конфету, то я ещё раз откушу это яблоко.

И я снова беру руками это яблочко и снова его немножко откусываю.

Лёля говорит:

— Ну, если ты второй раз откусил яблоко, то я не буду больше церемониться и сейчас съем третью пастилку и вдобавок возьму себе на память хлопушку и орех.

Тогда я чуть не заревел. Потому что она могла до всего дотянуться, а я нет. Я ей говорю:

— А я как подставлю к ёлке стул да как достану себе тоже что-нибудь, кроме яблока.

И вот я стал своими худенькими ручонками тянуть к ёлке стул. Но стул упал на меня. Я хотел поднять стул. Но он снова упал. И прямо на подарки.

Лёля говорит:

— Минька, ты, кажется, разбил куклу. Так и есть. Ты отбил у куклы фарфоровую ручку.

Тут раздались мамины шаги, и мы с Лёлей убежали в другую комнату.

Лёля говорит:

— Вот теперь, Минька, я не ручаюсь, что мама тебя не выдерет.

Я хотел зареветь, но в этот момент пришли гости. Много детей с их родителями.

И тогда наша мама зажгла все свечи на ёлке, открыла дверь и сказала:

— Все входите.

И все дети вошли в комнату, где стояла ёлка.

А наша мама говорит:

— Теперь пусть каждый ребёнок подходит ко мне, и я каждому буду давать игрушку и угощенье.

И дети стали подходить к нашей маме. И она каждому дарила игрушку. Потом снимала с ёлки яблоко, пастилку и конфету и тоже дарила ребёнку.

И все дети были очень довольны.

Но вот наша мама взяла в руки то яблоко, которое я откусил, и сказала:

— Лёля и Минька, подойдите сюда. Кто из вас двоих откусил это яблоко?

Лёля сказала:

— Это Минькина работа.

Я дёрнул Лёлю за косичку и сказал:

— Это меня Лёля научила.

Мама говорит:

— Лёлю я поставлю в угол носом, а тебе я хотела подарить заводной паровозик. Но теперь этот заводной паровозик я подарю тому мальчику, которому я хотела дать обкусанное яблоко.

И она взяла паровозик и подарила его одному четырёхлетнему мальчику. И тот моментально стал с ним играть.

И я рассердился на этого мальчика и ударил его по руке игрушкой. И он так отчаянно заревел, что его собственная мама взяла его на ручки и сказала:

— С этих пор я не буду приходить к вам в гости с моим мальчиком.

И я сказал:

— Можете уходить, и тогда паровозик мне останется.

И та мама удивилась моим словам и сказала:

— Наверно, ваш мальчик будет разбойник.

И тогда моя мама взяла меня на ручки и сказала той маме:

— Вы не смеете так говорить про моего мальчика. Лучше уходите со своим золотушным ребёнком и никогда к нам больше не приходите.

И та мама сказала:

— Я так и сделаю. С вами водиться, что в крапиву садиться.

И тогда ещё одна, третья, мама сказала:

— И я тоже уйду. Моя девочка не заслужила того, чтобы ей дарили куклу с обломанной рукой.

И моя сестрёнка Лёля закричала:

— Можете тоже уходить со своим золотушным ребёнком. И тогда кукла со сломанной ручкой мне останется.

И тогда я, сидя на маминых руках, закричал:

— Вообще все можете уходить, и тогда все игрушки нам останутся.

И тогда все гости стали уходить.

И наша мама удивилась, что мы остались одни.

Но вдруг в комнату вошёл наш папа.

Он сказал:

— Такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, чтоб мои дети были жадные и злые. И я не хочу, чтобы они дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве.

И наш папа подошёл к ёлке и потушил все свечи. И потом сказал:

— Моментально ложитесь спать. А завтра все игрушки я отдам гостям.

И вот, ребята, прошло с тех пор тридцать пять лет, и я до сих пор хорошо помню эту ёлку.

И за все эти тридцать пять лет я, дети, ни разу больше не съел чужого яблока и ни разу не ударил того, кто слабее меня. И теперь доктора говорят, что я поэтому такой сравнительно весёлый и добродушный.

Андрей Платонович Платонов.
(1899—1951)

СУХОЙ ХЛЕБ

1

Жил в деревне Рогачёвке мальчик Митя Климов семи лет от роду. Отца у него не было, отец его умер на войне от болезни, теперь у него осталась одна мать. Был у Мити Климова ещё дедушка, да он умер от старости ещё до войны, и лица его Митя не помнил: помнил он только доброе тепло у груди деда, что согревало и радовало Митю, помнил грустный, глухой голос, звавший его. А теперь не стало того тепла и голос тот умолк. «Куда ушёл дедушка?» — думал Митя. Смерти он не понимал, потому что он нигде не видел её. Он думал, что и брёвна в их избе и камень у порога тоже живые, как люди, как лошади и коровы, только они спят.

— А где дедушка? — спрашивал Митя у матери.— Он спит в земле?

— Он спит,— говорила мать.

— Он уморился? — спрашивал Митя.

— Уморился,— отвечала мать.— Он всю жизнь землю пахал, а зимой плотничал, зимой он сани делал в кооперацию и лапти плёл; всю жизнь ему спать было некогда.

— Мама, разбуди его! — просил Митя.

— Нельзя. Он осерчает.

— А папа тоже спит?

— И папа спит.

— У них ночь?

— У них ночь, сынок.

— Мама, а ты никогда не уморишься? — спрашивал Митя и с боязнью смотрел на материнское лицо.

— Нету, чего мне, сынок, я никогда не уморюсь. Я здоровая, я не старая... Я тебя ещё долго буду растить, а то ты у меня маленький.

И Митя боялся, что мама его уморится, устанет работать и тоже уснёт, как уснул дед и отец.

Мать теперь целый день ходила по полю за плугом. Два вола волокли плуг, а мать держала ручки плуга и кричала на волов, чтоб они шли, а не останавливались и не дремали. Мать была большая, сильная, под её руками лемех плуга выворачивал землю. Митя ходил следом за плугом и тоже покрикивал на волов, чтобы не скучать без матери.

В тот год лето было сухое. Горячий ветер дул в полях с утра до вечера, и в этом ветре летели языки чёрного пламени, будто ветер сдувал огонь с солнца и нёс его по земле. В полдень всё небо застилала мгла; огненный зной палил землю и обращал её в мёртвый прах, а ветер подымал в вышину тот прах, и он застил солнце. На солнце можно было тогда смотреть глазами, как на луну, плывущую в тумане.

Мать Мити пахала паровое поле[1]. Митя ходил за матерью и время от времени носил воду из колодца на пашню, чтобы мать не мучилась от жажды. Он приносил каждый раз половину ведра; мать сливала воду в бадью, что стояла на пашне, и, когда набиралась полная бадья, она поила волов, чтобы они не затомились и пахали. Митя видел, как тяжело было матери, как она упиралась в плуг впереди себя, когда слабели волы. И Митя захотел скорее стать большим и сильным, чтобы пахать землю вместо матери, а мать пусть отдыхает в избе.

Подумав так, Митя пошёл домой. Мать ночью испекла хлебы и оставила их на лавке, покрыв от мух чистым рушником. Митя отрезал половину ковриги и начал есть. Есть ему не хотелось, да нужно было: он хотел скорее вырасти боль-

---

[1] Паровóе поле — поле, оставленное на одно лето незасеянным для очищения от сорняков и удобрения почвы.



шим, скорее войти в силу и пахать землю. Митя думал, что от хлеба он скорее вырастет, только надо съесть его много. И он ел хлебную мякоть и хлебную корку; сперва он ел в охоту, а потом стал давиться от сытости; хлеб из его рта хотел выйти обратно, а он запихивал его пальцами и терпеливо жевал. Вскоре у него рот уморился жевать, челюсти в щеках заболели от работы, и Митя захотел спать. Но спать ему не надо было. Ему надо есть много и расти большим. Он выпил кружку воды, съел ещё капустную кочерыжку и опять стал есть хлеб. Доевши половину ковриги, Митя снова попил воды и стал есть печёную картошку из горшка, макая её в соль. Картошку он съел только одну, а вторую взял в руку, макнул в соль и заснул.

Вечером мать пришла с пахоты. Видит она, спит её сын на лавке, голову положил на ковригу свежего хлеба и храпит, как большой мужик. Мать раздела Митю, осмотрела его — не искусал ли его кто, глядит — живот у него, как барабан.

Всю ночь Митя храпел, брыкался ногами и бормотал во сне. А наутро проснулся, жил весь день не евши, ничего ему не хотелось, одну только воду пил.

С утра Митя ходил по деревне, потом пошёл на пашню к матери и всё время поглядывал на встречных и прохожих людей: не замечают ли они, что он вырос. Никто не смотрел на Митю с удивлением и не говорил ему ничего. Тогда он посмотрел на свою тень, не длиннее ли она стала. Тень его словно бы стала больше, чем вчера, однако немного, на самую малость.

— Мама,— сказал Митя,— давай я пахать буду, мне пора!

Мать ответила ему:

— Обожди! Придёт и твоя пора пахать! А сейчас твоя пора не пришла, ты малолетний, ты маломощный ещё, тебе расти и кормиться ещё надо, и я тебя буду кормить!

Митя осерчал на мать и на всех людей, что он меньше их.

— Не хочу я кормиться, я тебя кормить хочу!

Мать улыбнулась ему, и от неё, от матери, всё стало вдруг добрым вокруг: сопящие потные волы, серая земля, былинка, дрожащая на жарком ветру, и незнакомый старик, бредущий по меже. Огляделся Митя, и ему показалось, что отовсюду на него смотрят добрые, любящие его глаза, и вздрогнуло его сердце от радости.

— Мама! — воскликнул Митя.— А что мне надо делать? А то я тебя люблю.

— А чего тебе делать! — сказала мать.— Живи, вот тебе работа. Думай о дедушке, думай об отце и обо мне думай.

— А обо мне ты тоже думаешь?

— О тебе я тоже думаю — один ты у меня,— ответила мать.— Ой, лешие! Чего стали? — сказала она волам.— А ну, вперёд! Не евши, что ль, жить будем?

2

В родительском дворе, где жил Митя Климов, был старый сарай. Сарай был покрыт досками, и доски стали старые от времени, по ним уже давно рос зелёный мох. А сам сарай ушёл с одной стороны наполовину в землю и походил на согнувшегося старика.

В тёмном углу того сарая лежали старые, давние вещи. Туда и отец складывал, что ему нужно было, там и дед хранил, что ему одному было дорого и никому уже не требовалось. Митя любил ходить в тот тёмный угол сарая-старика и трогать там ненужные вещи. Он брал топор, весь иззубренный, ржавый и негодный, глядел на него и думал: «Его дедушка в руках держал и я держу». Он увидел там деревянную снасть, похожую на корягу, и не знал, что это такое. Мать тогда сказала Мите: это была соха, ею дедушка пахал землю. Митя нашёл там ещё колесо от домашней прялки... Там же валялся кочедык[1], он был нужен дедушке,

[1] Кочедык — шило для изготовления лаптей.

когда он плёл лапти себе и своим детям. Там ещё много было добра, и Митя трогал руками забытые предметы, спящие теперь в сумраке сарая; мальчик думал о них, он думал о том, как они жили давно в старинное время; тогда ещё Мити не было на свете, и всем скучно было, что его нету.

Нынче Митя нашёл в сарае твёрдую дубовую палку: на одном конце её был корень, согнутый книзу и острый, а другой конец был гладкий. Митя не знал, что это было. Может, дедушка рыхлил землю, как тяпкой, этим острым дубовым корнем или ещё что-нибудь работал. Мать говорила, он всегда работал и ничего не боялся. Митя взял эту дедушкину дубовую тяпку и отнёс её в избу. Может быть, она ему сгодится: дедушка ею работал и он будет.

3

К самому пряслу[1] Климова двора подходило колхозное поле. На поле была посеяна рожь рядами. Каждый день Митя ходил к матери через это хлебное поле и видел, как рожь морилась жарою и умирала: малые былинки ржи лишь изредка стояли живыми, а многие уже поникли замертво к земле, откуда вышли на свет. Митя пробовал подымать иссохшие хлебные былинки, чтобы они жили опять, но они жить не могли и клонились, как сонные, на спёкшуюся, горячую землю.

— Мама,— говорил он,— рожь от жары умаривается?

— Умаривается, сынок. Дождей-то ведь не было и теперь нету, а хлеб не железный, он живой.

— А роса есть!— сказал Митя.— Она по утрам бывает.

— А чего роса!— ответила мать.— Роса сохнет скоро; земля вся поверху спеклась, роса вглубь не проходит.

— Мама, а как же быть-то без хлеба?

---

[1] Пря́сло — изгородь.

— Не знаю, как быть... Должно, помощь тогда будет, мы в государстве живём.

— А лучше пусть в колхозе хлеб растёт, пусть роса в землю проходит.

— Так бы оно лучше было, да хлеб без дождя не рождается.

— Он не вырастет большой, он спит маленький! — произнёс Митя; он скучал о тех, кто спит.

Он пошёл один домой, а мать осталась на пашне. Дома Митя взял дедушкину деревянную тяпку, погладил её рукою — дедушка тоже, должно быть, гладил её, — положил тяпку на плечо и пошёл на колхозное озимое поле[1], что было за пряслом.

Там он стал рыхлить тяпкой спёкшуюся землю промеж рядов уснувших ржаных былинок. Митя понимал, что хлебу вольнее будет дышать, когда земля станет рыхлой. А ещё ему хотелось, чтобы ночная и утренняя роса прошла сверху между комочками земли в самую глубину, до каждого корня ржаного колоска. Тогда роса смочит там почву, корни станут кормиться из земли, а хлебная былинка проснётся и будет жить.

Митя ударил нечаянно тяпкой возле самого хлебного стебелька, и стебелёк тот сломался и поник.

— Нельзя! — вскричал Митя самому себе. — Ты что делаешь!

Он оправил стебелёк, уставил его в землю и стал теперь мотыжить землю лишь посредине междурядья, чтобы не поранить хлебных корней. Потом он положил тяпку и начал руками копать и рыхлить землю у самых корней. Корни были осохшие, слабые. Мать говорила про них, что они малодушные, и Митя осторожно ощупывал пальцами и разрыхлял

[1] Ози́мое поле — поле, засеваемое осенью. Растения на таком поле зимуют под снегом.

почву вокруг каждого ржаного корешка, чтобы не сделать ему больно и чтобы роса напоила его.

Митя работал долго и ничего не видел, кроме земли у ослабевших, у дремлющих былинок.

Он опомнился, когда его окликнули. Митя увидел учительницу. Он не ходил в школу, мать сказала ему, что осенью отдаст его в школу, но Митя знал учительницу. Она была на войне, и у неё осталась целой одна правая рука; однако учительница Елена Петровна не горевала, что она калека; она всегда была весёлая, она знала всех детей на деревне и ко всем была добрая.

— Митя! Ты что тут копаешься? — спросила учительница.

— Хлеб пусть растёт! — сказал Митя. — Я хлебу помогаю, чтоб он жил.

— Как же ты помогаешь? А ну расскажи мне, Митя! Расскажи скорей, ведь сушь стоит!

— Он росу будет пить!

Учительница подошла к Мите и посмотрела на его работу.

— Тебе бы играть надо, тебе не скучно работать одному?

— Не скучно, — сказал Митя.

— А отчего тебе не скучно?.. Приходи завтра ко мне в школу, мы оттуда в лес на экскурсию с ребятами пойдём, и ты пойдёшь...

Митя не знал, что сказать, потом он вспомнил:

— Я маму всё время люблю, мне работать не скучно. Хлеб помирает, нам некогда.

Учительница Елена Петровна наклонилась к Мите, обняла его одной рукой и прижала к себе:

— Ах ты, милый мой! Какое сердце у тебя — маленькое, а большое!.. Знаешь что? Ты тяпкой будешь мотыжить, а я пальцами у корней буду копать, а то у меня рука-то всего одна!

И Митя стал мотыжить землю дедушкиной тяпкой, а учи-

тельница, присев на корточки, начала копать почву пальцами у самых хлебных корней.

На другой день учительница пришла на колхозное поле не одна: с нею пришло семеро детей, учеников первого и второго классов. Митя один уже работал деревянной тяпкой. Он вышел нынче спозаранку и осмотрел все хлебные былинки, возле которых он вчера разрыхлил землю.

Солнце поднялось, роса уже сошла и ветер с огнём дул по земле. Однако же ржаные колоски, что возделал Митя, нынче словно бы повеселели.

— Они просыпаются!— обрадованно сказал Митя учительнице.— Они проснутся!

— Конечно, проснутся,— согласилась учительница.— Мы их разбудим!

Она увела учеников с собой, и Митя остался один.

«Мама пашет, и я хлебу расти помогаю,— думал Митя.— У учительницы одна рука только, а то бы она тоже работала».

Учительница Елена Петровна взяла в колхозе маленькие узкие тяпки и вернулась со всеми мальчиками и девочками обратно. Она показала детям, как работает Митя, как надо делать, чтобы рос сухой хлеб,— она сама стала работать одной рукой, и все дети склонились к ржаным былинкам, чтобы помочь им жить и расти.



Вопросы и задания.

1. Вспомни, о чём повествуют прочитанные тобой произведения. Что их объединяет? Почему раздел назван «Страна *далёкого* детства»?

2. Знаешь ли ты что-нибудь о детстве твоих родителей или других близких? Смог бы ты рассказать какой-нибудь интересный эпизод своим друзьям?

3. Попробуй придумать свой заголовок к фрагменту из книги И. С. Шмелёва «Лето Господне». Какую мысль ты считаешь главной в этой истории и постараешься отразить в заголовке? Почему, по твоему мнению, старый пастух решил больше не играть на рожке?

4. Какие подробности из жизни москвичей начала XX века ты узнал, прочитав произведение И. С. Шмелёва? Спроси у своих бабушки, дедушки, как выглядел ваш город или деревня 40—50 лет тому назад.

5. Какие слова из произведения В. В. Набокова указывают на то, что мальчик жил давно, в начале нашего столетия?

6. Какие эпизоды своего детства вспоминает писатель? Как ты думаешь, эти воспоминания написаны так, что вызывают грусть о прошедшем детстве, улыбку или, может быть, бесстрастно с наибольшей точностью передают все события?

7. Фрагмент из «Воспоминаний» А. И. Цветаевой разделён на четыре части. Озаглавь каждую из них. Перескажи понравившуюся тебе часть.

8. Есть ли у тебя любимая игрушка? Составь небольшой текст-описание о ней. Запиши его в тетрадь по чтению.

9. Как ты думаешь, почему рассказ В. К. Зайцева «Домашний лар» называется именно так?

Как, на твой взгляд, относится писатель к своему герою? Опиши характер мальчика. Может быть, тебе помогут слова-эпитеты: *беззлобный, доверчивый, непосредственный, заботливый.*

10. Как начинается сказ П. П. Бажова «Серебряное копытце»? А как обычно начинаются народные сказки? Почему, по твоему мнению, Кокованя решил взять Дарёнку к себе в дом? Как зажили втроём Кокованя, Дарёнка и Мурёнка?

11. Как ты думаешь, почему Коковане так хотелось увидеть Серебряное копытце: 1) потому что дедушка верил в сказки и хотел увидеть чудо; 2) потому что он был бедный и надеялся продать драгоценные камешки и зажить богато? Подтверди свой ответ словами из текста.

12. Подбери пословицы или поговорки, которые можно было бы употребить в сказе П. П. Бажова. Например: *Не имей сто рублей, а имей сто друзей.*

13. Чем тебе понравился прочитанный рассказ Б. С. Житкова? В чём, по-твоему, проявилась любознательность его главного героя?

14. Думал ли ты, читая рассказ, что в пароходике на самом деле живут человечки? Почему верил в это мальчик и в чём он убедился, сломав игрушку? Придумай такое окончание для этой истории, в котором мальчик находит человечков в пароходике.

15. Какие рассказы Б. С. Житкова ты читал раньше? Какой из них ты запомнил и почему? Расскажи кратко его содержание.

16. Перечитай последние страницы рассказа К. Г. Паустовского «Корзина с еловыми шишками» об удивительном дне в жизни Дагни. Как ты думаешь, какие чувства возникли в её душе: *изумление, восхищение, благодарность, сожаление, радость, восторг?*

17. Найди в рассказе «Корзина с еловыми шишками» описание осени, зимы, белых ночей. Какие приёмы использует писатель? Выпиши из этих фрагментов *сравнения, олицетворения.* Ты уже знаешь, что сравнение определяет предмет или явление при помощи сопоставления его с другим предметом или явлением. А олицетворение — это изображение неживых предметов в виде живых существ. Постарайся дополнить список выписанных слов своими собственными примерами.

18. Прочитай два небольших описания музыки:

«Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами...

Стеклянные корабли пенили воду. Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке...»

«Рожок его был негромкий, мягкий. Играл он жалобное, разливное,— не старикову, другую песню, такую жалостливую, что щемило сердце. Приятно, сладостно было слушать,— так бы вот и слушал. А когда доиг-

рал рожок, доплакался до того, что дальше плакаться сил не стало,— вдруг перешёл на такую лихую плясовую, пошёл так дробить и перебирать, ёрзать и перехватывать, что и сам певун в лапотках заплясал, и старик заиграл плечами, и Гришка, стоявший на мостовой с метёлкой, пустился выделывать ногами. И пошла плясать улица и ухать, пошло такое...— этого и сказать нельзя».

Определи, какой фрагмент написан И. С. Шмелёвым, а какой К. Г. Паустовским. Как ты догадался? Просто вспомнил прочитанные тобой произведения или ещё как-то?

19. Любишь ли ты вспоминать, что происходило с тобой, когда ты был совсем маленьким, дошкольником? Как ты думаешь, почему писатель М. М. Зощенко надолго запомнил события, происшедшие с ним в детстве?

20. Вспомни, в каких рассказах писателя ты встречался раньше с Лёлей и Минькой. Постарайся кратко рассказать о том, что произошло с этими ребятами в рассказе «Елка». Чтобы подготовиться к краткому пересказу, выдели главную мысль произведения. Затем определи те события рассказа, в которых эта мысль находит выражение. Как ты думаешь, в чём главная причина того, что праздник был испорчен?

21. А теперь представь себе, что ты кинорежиссёр и тебе предложили снимать фильм «Елка». Сколько человек (действующих лиц) будет в твоём фильме? Опиши внешность каждого из них. Если у тебя возникнут затруднения, обратись к тексту рассказа.

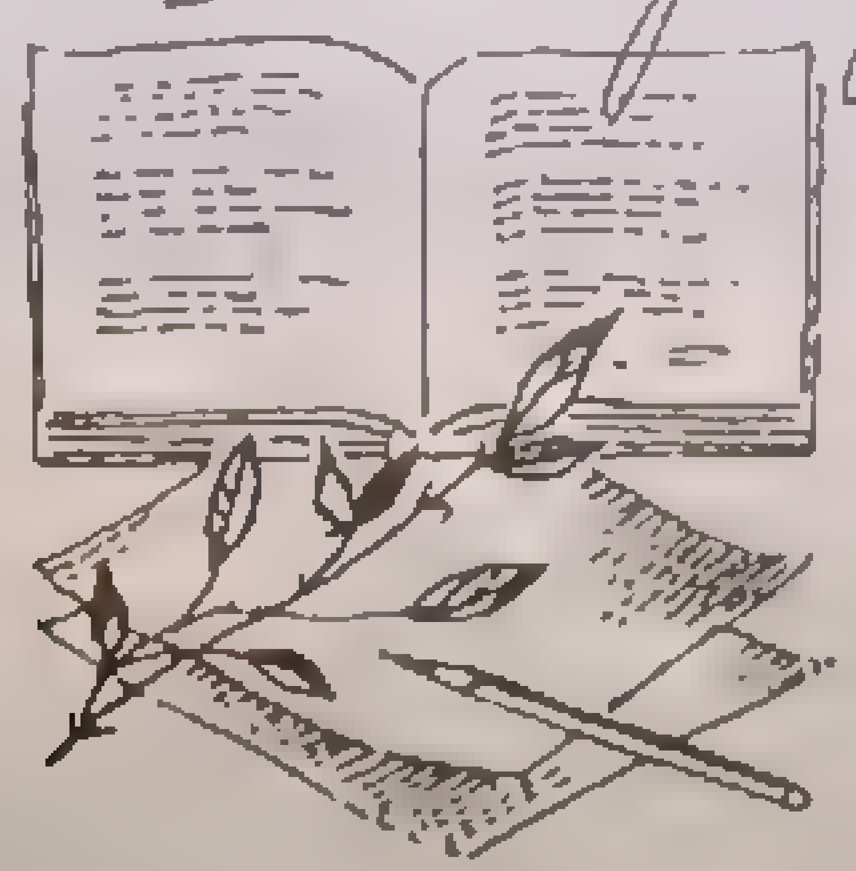
22. Какая главная мысль в рассказе А. П. Платонова «Сухой хлеб»? Связана ли она с названием рассказа? Каким образом?

23. В чём проявился мужской характер главного героя рассказа «Сухой хлеб»? Как ты понимаешь, что такое *мужской характер?*

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ



Тихая моя родина...





Ахматова
Анна Андреевна
(1889-1966)



МУЖЕСТВО.

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах.
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова,—
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки!

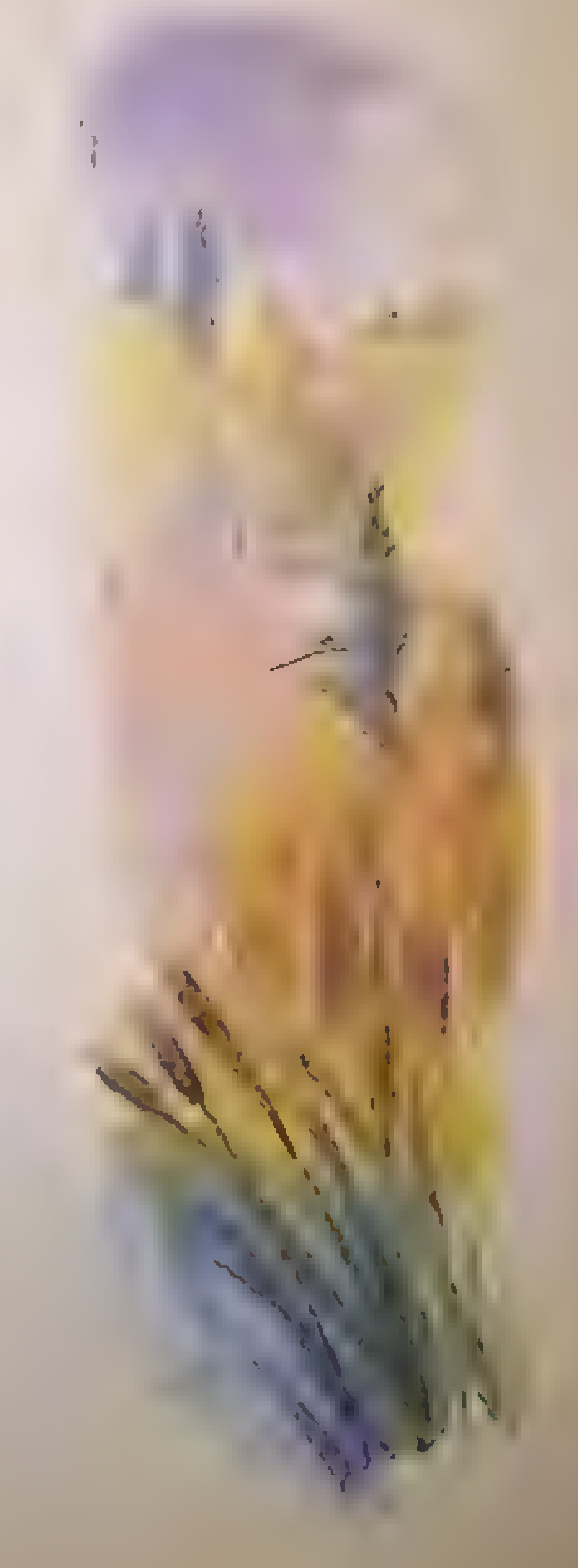


Пастернак Борис Леонидович

(1890-1960)



ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ.



Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озёра.

Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.

Липы обруч золотой —
Как венец на новобрачной.
Лик берёзы — под фатой
Подвенечной и прозрачной.

Погребённая земля
Под листвой в канавах, ямах.
В жёлтых клёнах флигеля
Словно в золочёных рамах.

Где деревья в сентябре
На заре стоят попарно,
И закат на их коре
Оставляет след янтарный.

Где нельзя ступить в овраг,
Чтоб не стало всем известно:
Так бушует, что ни шаг,
Под ногами лист древесный.

Где звучит в конце аллей
Эхо у крутого спуска
И зари вишнёвый клей
Застывает в виде сгустка.

Осень. Древний уголок
Старых книг, одежд, оружья,
Где сокровищ каталог
Перелистывает стужа.

Клычков Сергей Антонович

(1889-1940)



РАННЯЯ ВЕСНА.

Сегодня вечером над горкой
Упали с криками грачи,
И старый сад скороговоркой
Будили в сумраке ручьи.
Церковный пруд в снегу тяжёлом
Всю ночь ворочался и пух,
А за соседним частоколом
Кричал не вовремя петух.
Пока весь снег в тумане таял,
Я слушал, притаясь к окну:
В тумане пёс протяжно лаял
На запоздавшую луну...

ВЕСНА В ЛЕСУ.

Снег обтаял под сосною,
И тепло на мягком мху,
Рано в утренник весною
Над опушкою лесною
Гаснут звёзды наверху.

Соберутся зайцы грудой
Под капелью и теплом,
Громче дятел красногрудый
Застучит в сухой и рудый
Ствол со щелью и дуплом.

И медведь с хребтом багровым
Встанет, щурясь, в лому,
По болотам, по дубровам
Побродить с тягучим рёвом
И с очей согнать дрему.

Как и я уйду весною
В яр дремучий до зари
Поглядеть, как никнет хвоя,
Как в истоме клохчут сои
И кружатся глухари.

Как гуляет перед бором
Чудный странничек в кустах:
В золотых кудрях с пробором,
В нарукавнице с узором,
Со свирелкой на устах.



Есенин Сергей Александрович

(1895-1925)



* * *

Погасло солнце. Тихо на лужке.
Пастух играет песню на рожке.

Уставясь лбами, слушает табун,
Что им поёт вихрастый гамаюн[1].

А эхо резвое, скользнув по их губам,
Уносит думы их к неведомым лугам.

Любя твой день и ночи темноту,
Тебе, о родина, сложил я песню ту.

Из стихотворения «Табун».

* * *

Задремали звёзды золотые,
Задрожало зеркало затона,
Брезжит свет на заводи речные
И румянит сетку небосклона.



[1] Гамаю́н — сказочная птица с человеческим лицом.

3 Зак. 3850 Головнмова, кн. 3, ч. 2

Улыбнулись сонные берёзки,
Растрепали шёлковые косы.
Шелестят зелёные серёжки,
И горят серебряные росы.

У плетня заросшая крапива
Обрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо:
«С добрым утром!»

ЛЕБЁДУШКА.

Из-за леса, леса тёмного
Подымалась красна зорюшка,
Рассыпала ясной радугой
Огоньки-лучи багровые.

Загорались ярким пламенем
Сосны старые, могучие,
Наряжали сетки хвойные
В покрывала златотканые.

А кругом роса жемчужная
Отливала блёстки алые,
И над озером серебряным
Камыши, склонясь, шепталися.

В это утро вместе с солнышком
Уж из тех ли тёмных зарослей
Выплывала, словно зоренька,
Белоснежная лебёдушка.



Позади ватагой стройною
Подвигались лебежатушки,
И дробилась гладь зеркальная
На колечки изумрудные.

И от той ли тихой заводи,
Посередь того ли озера,
Прилегла струя далёкая
Лентой тёмной и широкою.

Уплывала лебедь белая
По ту сторону раздольную,
Где к затону молчаливому
Прилегла трава шелковая.

У побéрежья зелёного,
Наклонив головки нежные,
Перешёптывались лилии
С ручейками тихозвонными.

Как и стала звать лебёдушка
Своих малых лебежатушек
Погулять на луг пестреющий,
Пощипать траву душистую.

Выходили лебежатушки
Теребить траву-муравушку,
И росинки серебристые,
Словно жемчуг, осыпалися.

А кругом цветы лазоревы
Распускали волны пряные
И, как гости чужедальние,
Улыбались дню весёлому.

И гуляли детки малые
По раздолью по широкому,
А лебёдка белоснежная,
Не спуская глаз, дозорила.

Пролетал ли коршун рощею,
Иль змея ползла равниною,
Гоготала лебедь белая,
Созывая малых детушек.

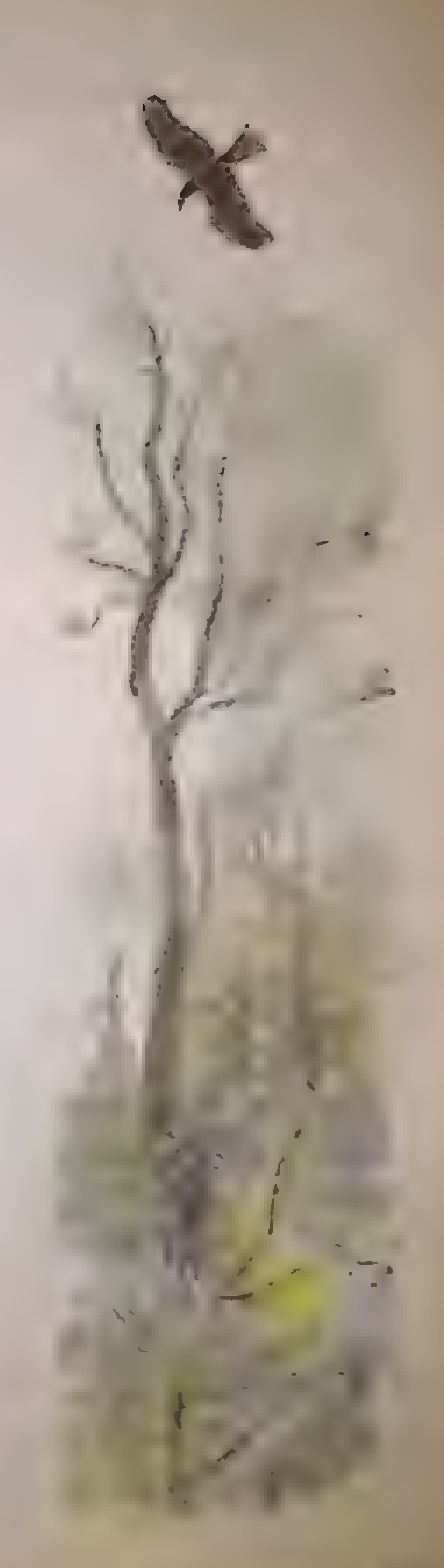
Хоронились лебежатушки
Под крыло ли материнское,
И когда гроза скрывалася,
Снова бегали-резвилися.

Но не чуяла лебёдушка,
Не видала оком доблестным,
Что от солнца золотистого
Надвигалась туча чёрная —

Молодой орёл под облаком
Расправлял крыло могучее
И бросал глазами молнии
На равнину бесконечную.

Видел он у леса тёмного,
На пригорке у расщелины,
Как змея на солнце выползла
И свилась в колечко, грелася.

И хотел орёл со злобою
Как стрела на землю кинуться,
Но змея его заметила
И под кочку притаилася.



Взмахом крыл своих под облаком
Он расправил когти острые
И, добычу поджидаючи,
Замер в воздухе распластанный.

Но глаза его орлиные
Разглядели степь далёкую,
И у озера широкого
Он увидел лебедь белую.

Грозный взмах крыла могучего
Отогнал седое облако,
И орёл, как точка чёрная,
Стал к земле спускаться кольцами.

В это время лебедь белая
Оглянула гладь зеркальную
И на небе отражавшемся
Увидала крылья длинные.

Встрепенулася лебёдушка,
Закричала лебежатушкам,
Собралися детки малые
И под крылья схоронилися.

А орёл, взмахнувши крыльями,
Как стрела на землю кинулся,
И впилися когти острые
Прямо в шею лебединую.

Распустила крылья белые
Белоснежная лебёдушка
И ногами помертвелыми
Оттолкнула малых детушек.



Побежали детки к озеру,
Понеслись в густые заросли,
А из глаз родимой матери
Покатились слёзы горькие.

А орёл когтями острыми
Раздирал ей тело нежное,
И летели перья белые,
Словно брызги, во все стороны.

Колыхалось тихо озеро,
Камыши, склонясь, шепталися,
А под кочками зелёными
Хоронились лебежатушки.

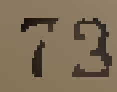
* * *

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть.

Золотою лягушкой луна
Распласталась на тихой воде.
Словно яблонный цвет, седина
У отца пролилась в бороде.

Я не скоро, не скоро вернусь!
Долго петь и звенеть пурге.
Стережёт голубую Русь
Старый клён на одной ноге.

И я знаю, есть радость в нём
Тем, кто листьев целует дождь,
Оттого что тот старый клён
Головой на меня похож.



Прокофьев
Александр Андреевич
(1900-1971)



ЗАКАТ.

Да, такого неба не бывало,
Чтоб с полнеба сразу стало алым,
Чтоб заката лента обвивала
Облака, грозящие обвалом!
Вот отсюда и пошло:
в лугу
Розовый стожар[1] горит в стогу,
Розовые сосны на снегу,
Розовые кони в стойла встали,
Розовые птицы взвились в дали,
Чтобы рассказать про чудеса...
Это продолжалось полчаса!

[1] Стожáр — шест, втыкаемый в землю посреди стога, чтобы он не клонился.

Я ПОДНЯЛ ДЕРЕВО.

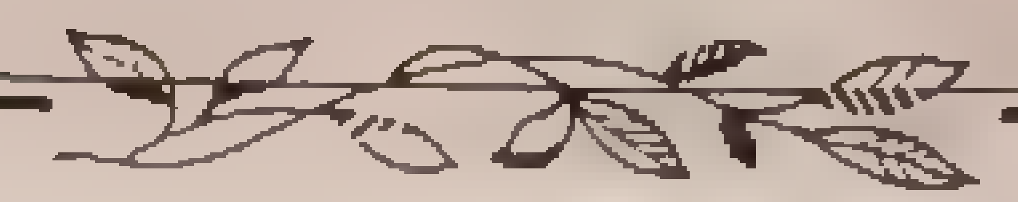
Я поднял дерево —
Оно росло не стоя,
Лесок его, как в битве, потерял.
Оно не говорило со звездою,
И соловей его не удивлял.

Оно, скажу, ползло в лесу заветном,
Что кронами встречает синеву,
Оно ползло,
Униженное ветром
И брошенное намертво в траву!

О нём уже не помнила округа,
Ликуя, вешней свежестью дыша...
Я поднял это дерево,
Как друга.
О, как заговорила в нём душа!



Кедрин
Дмитрий Борисович
(1907-1945)



БАБЬЕ ЛЕТО.

Наступило Бабье лето —
Дни прощального тепла.
Поздним солнцем отогрета,
В щёлке муха ожила.

Солнце! Что на свете слаже
После зябкого денька?..
Паутинок лёгких пряжа
Обвилась вокруг сучка.

Завтра хлынет дождик быстрый,
Тучей солнце заслоня.
Паутинкам серебристым
Жить осталось два-три дня.

Сжалься, осень! Дай нам света!
Защити от зимней тьмы!
Пожалей нас, Бабье лето;
Паутинки эти — мы.

Слуцкий
Борис Абрамович
(1919-1986)



ЛОШАДИ В ОКЕАНЕ.

И. Эренбургу.

Лошади умеют плавать,
Но — не хорошо. Недалеко.

«Глория» по-русски значит «Слава»,—
Это вам запомнится легко.

Шёл корабль, своим названьем гордый,
Океан старался превозмочь.

В трюме, добрыми мотая мордами,
Тыща лошадей топтались день и ночь.

Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья всё ж они не принесли.

Мина кораблю пробила днище
Далеко-далёко от земли.

Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.

Что ж им было делать, бедным, если
Нету мест на лодках и плотах?

Плыл по океану рыжий остров.
В море синем остров плыл гнедой.

И сперва казалось — плавать просто,
Океан казался им рекой.

Но не видно у реки той края.
На исходе лошадиных сил

Вдруг заржали кони, возражая
Тем, кто в океане их топил.

Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.

Вот и всё. А всё-таки мне жаль их —
Рыжих, не увидевших земли.



Жигулин Анатолий Владимирович

(р.1930)



* * *

О, Родина! В неярком блеске
Я взором трепетным ловлю
Твои просёлки, перелески —
Всё, что без памяти люблю:

И шорох рощи белоствольной,
И синий дым в дали пустой,
И ржавый крест над колокольней,
И низкий холмик со звездой...

Мои обиды и прощенья
Сгорят, как старое жнивьё.
В тебе одной — и утешенье,
И исцеление моё.

Рубцов
Николай Михайлович
(1936-1971)

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА.

В. Белову.

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои

— Где же погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу.—
Тихо ответили жители:
— Это на том берегу.

Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.

Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.

Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.

Новый забор перед школою,
Тот же зелёный простор.
Словно ворона весёлая,
Сяду опять на забор!

Школа моя деревянная!..
Время придёт уезжать —
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

СЕНТЯБРЬ

Слава тебе, поднебесный
Радостный краткий покой!
Солнечный блеск твой чудесный
С нашей играет рекой,
С рощей играет багряной,
С россыпью ягод в сенях,
Словно бы праздник нагрянул
На златогривых конях!
Радуюсь громкому лаю,
Листьям, корове, грачу
И ничего не желаю,
И ничего не хочу!
И никому не известно
То, что, с зимой говоря,
В бездне таится небесной
Ветер и грусть октября...





ПРИРОДА И МЫ.

Михаил Михайлович Пришвин.

(1873—1954)

ВЫСКОЧКА.

Наша охотничья собака, лайка, приехала к нам с берегов Бии, и в честь этой сибирской реки так и назвали мы её Бией. Но скоро эта Бия почему-то у нас превратилась в Бьюшку, Бьюшку все стали звать Вьюшкой. Мы с ней мало охотились, но она прекрасно служила у нас сторожем. Уйдёшь на охоту, и будь уверен: Вьюшка не пустит врага.

Весёлая собачка эта Вьюшка, всем нравится: ушки как рожки, хвостик колечком, зубки беленькие, как чеснок.

Достались ей от обеда косточки. Получая подарок, Вьюшка развернула колечко своего хвоста и опустила его вниз поленом. Это у неё означало тревогу и начало бдительности, необходимой для защиты,— известно, что в природе на кости есть много охотников.

С опущенным хвостом Вьюшка вышла на траву-мураву и занялась одной косточкой, другую же положила рядом с собой.

Тогда, откуда ни возьмись, сороки: скок, скок!— и к самому носу собаки. Когда же Вьюшка повернула голову к одной — хвать! другая сорока с другой стороны — хвать!— и унесла косточку.

Дело было поздней осенью, и сороки вывода этого лета были совсем взрослые. Держались они тут всем выводком, в семь штук, и от своих родителей постигли все тайны воровства. Очень быстро они оклевали украденную косточку и недолго думая собрались отнять у собаки вторую.

Говорят, что в семье не без урода. То же оказалось и в сорочьей семье. Из семи сорок одна вышла не то чтобы совсем глупенькая, а как-то с заскоком и с пыльцой в голове. Вот сейчас то же было: все шесть сорок повели правильное наступление, большим полукругом, поглядывая друг на друга, и только одна Выскочка поскакала дуром.

— Тра-та-та-та-та!— застрекотали все сороки.

Это у них значило:

— Скачи назад, скачи, как надо, как всему сорочьему обществу надо!

— Тра-ля-ля-ля-ля!— ответила Выскочка.

Это у неё значило:

— Скачите, как надо, а я — как мне самой хочется.

Так за свой страх и риск Выскочка подскакала к самой Вьюшке в том расчёте, что Вьюшка, глупая, бросится на неё, выбросит кость, она же изловчится и кость унесёт.

Вьюшка, однако, замысел Выскочки хорошо понимала и не только не бросилась на неё, но, заметив Выскочку косым глазом, освободила кость и поглядела в противоположную сторону, где правильным полукругом, как бы нехотя — скок и подумают,— наступали шесть умных сорок.

Вот это мгновение, когда Вьюшка отвернула голову, Выскочка улучила для своего нападения. Она схватила кость и даже успела повернуться в другую сторону, успела ударить по земле крыльями, поднять пыль из-под травы-муравы.



И только бы ещё одно мгновение, чтобы подняться на воздух, только бы одно мгновеньишко! Вот только-только бы подняться сороке, как Вьюшка схватила её за хвост, и кость выпала...

Выскочка вырвалась, но весь радужный длинный сорочий хвост остался у Вьюшки в зубах и торчал из пасти её длинным острым кинжалом.

Видел ли кто-нибудь сороку без хвоста? Трудно даже вообразить, во что превращается эта блестящая пестрая и проворная воровка яиц, если ей оборвать хвост. Ничего сорочьего не остаётся тогда в этой птице, и ни за что в ней не узнаешь не только сороку, а и какую-нибудь птицу: это просто шарик пёстрый с головкой.

Бесхвостая Выскочка села на ближайшее дерево, все другие шесть сорок прилетели к ней. И было видно по всему сорочьему стрекотанью, по всей суете, что нет в сорочьем быту большего срама, как лишиться сороке хвоста.

Константин Георгиевич Паустовский. (1892—1968)

СКРИПУЧИЕ ПОЛОВИЦЫ.

(Отрывок.)

В этом рассказе говорится об одном случае из жизни замечательного русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Деревянный дом, в котором как-то летом гостил композитор, ему очень нравился. Долгие часы проводил П. И. Чайковский за роялем, сочиняя музыку, и порой ему казалось, что от этих звуков начинал петь весь старый, рассохшийся дом. И этот дом, и окружавший его лес, деревушки, просеки, заросли, и заброшенная дорога — всё помогало композитору сочинять его прекрасную музыку, в которой он стремился выразить всю любовь к своей стране, её природе и людям.

Однажды старый Василий лесник из соседней помещичьей усадьбы — принёс Петру Ильичу Чайковскому страшную весть о вырубке леса, окружавшего дом, в котором жил композитор.

1

Дом стоял на пригорке. Леса уходили вниз, в весёлую даль, где лежало среди зарослей озеро. Там у композитора было любимое место — оно называлось Рудым Яром... Это место казалось ему наилучшим выражением русской природы. Он окликнул слугу и заторопил его, чтобы поскорее умыться, выпить кофе и идти на Рудой Яр. Он знал, что сегодня, побыв там, он вернётся — и живущая где-то внутри любимая тема о лирической силе этой лесной стороны перельётся через край и хлынет потоками звуков.

Так и случилось. Он долго простоял на обрыве Рудого Яра. С зарослей липы и бересклета капала роса. Столько сырого блеска было вокруг, что он невольно прищурил глаза.

Но больше всего в этот день Чайковского поразил свет. Он

вглядывался в него, видел всё новые пласты света, падавшие на знакомые леса. Как только он раньше не замечал этого?

С неба свет лился прямыми потоками, и под этим светом особенно выпуклыми и кудрявыми казались вершины леса, видного сверху, с обрыва.

На опушку падали косые лучи, и ближайшие стволы сосен были того мягкого золотистого оттенка, какой бывает у тонкой сосновой дощечки... И с необыкновенной в то утро зоркостью он заметил, что сосновые стволы тоже отбрасывают свет на подлесок и на траву — очень слабый, но такого же золотистого, розоватого тона.

И, наконец, он увидел сегодня, как заросли ив и ольхи над озером были освещены снизу голубоватым отблеском воды.

Знакомый край был весь обласкан светом, просвечен им до последней травинки. Разнообразие и сила освещения вызвали у Чайковского то состояние, когда кажется, что вот-вот случится что-то необыкновенное, похожее на чудо. Он испытывал это состояние и раньше. Его нельзя было терять. Надо было тотчас возвращаться домой, садиться за рояль и наспех записывать проигранное на листках нотной бумаги.

Чайковский быстро пошёл к дому. На поляне стояла высокая раскидистая сосна. Её он прозвал «маяком». Она тихо шумела, хотя ветра и не было. Он, не останавливаясь, провёл рукой по её нагретой коре.

2

Дома он приказал слуге никого к себе не пускать, прошёл в маленький зал, запер дребезжащую дверь и сел к роялю.

Он играл... Он добивался ясности мелодии — такой, чтобы она была понятна и мила и Фене, и даже старому Василию, ворчливому леснику из соседней помещичьей усадьбы.



Он играл, не зная, что Феня принесла ему махотку земляники, сидит на крыльце, крепко сжимает загорелыми пальцами концы белого головного платка и, приоткрыв рот, слушает. А потом приплёлся Василий, сел рядом с Феней...

— Играет? — спросил, подымив цигаркой, Василий.— Прекратить, говоришь, нельзя?

— Никак! — ответил слуга и усмехнулся на необразованность лесника.— Он музыку сочиняет. Это, Василий Ефимыч, святое дело.

— Дело, конечно, святое,— согласился Василий.— А ты бы всё-таки доложил.

— И не просите. Надо же иметь понимание вещей.

— А мы, что ж, не понимаем? — рассердился Василий.— Ты, брат, охраняй, да в меру. Моё дело, ежели разобраться, поважнее, чем этот рояль.

— Ой! — вздохнула Феня и ещё туже затянула концы платка.— Весь бы день слухала!..

— Вот,— сказал с укором слуга,— девчонка босоногая, и та чувствует! А ты протестуешь! Смыслу от тебя не добьёшься. И неизвестно, за каким ты делом пришёл.

— Я не в трактир[1] пришёл,— ответил бранчливо Василий...— Я к Петру Ильичу за советом пришёл.

Он снял шапку, поскрёб серые космы, потом нахлобучил шапку и сказал:

— Слыхали, небось? Помещик мой не вытянул, ослаб. Весь лес продал...

— Кому продал?

— Харьковскому купцу Трощенке... Слыхал про такого?

— Купцов много,— уклончиво ответил слуга.— Ежли бы ещё он был московский...

— Повидал я купцов на своём веку каких хошь... А этот — с виду приличный господин. В золотых очках, и бородка седенькая, гребешочком расчёсанная... В чесучовом пиджаке ходит. А в глаза, брат, не гляди — там пусто. Как в могиле. Приехал с ним приказчик, всё хвалится: «Мой, говорит, волкодав лесá свёл по всей Харьковской и Курской губерниям. Сплошной рубкой. Он, говорит, к лесу злой — на семена ничего не оставит. На лесах большие капиталы наживал». Думали, конечно, что врёт приказчик... А вышло на поверку, что не брешет приказчик. Купил Трощенко лес, рубаху ещё не сменил, а пригнал уже лесорубов и пильщиков. С завтрашнего дня лес начнут валить. Всё, говорят, велел пустить под топор до последней осины. Так-то!

— А тебе что? Твоя какая беда? Что велят, то и делай...

— Служишь ты у хорошего господина,— раздумчиво сказал Василий,— а душа у тебя, как гнилой орех. Щёлкнешь, а в нём заместо ядра — белый червь... Как язык поворачивается такое спрашивать — мне-то что! Да я со своих двадцати годов к этому лесу приставлен. Я его растил, нянчил...

[1] Трактúр — в старину гостиница с рестораном.

— Вона!— насмешливо сказал слуга.

— «Вона»!— передразнил его Василий.— А теперь что? Разбой! Да я ещё должен дерева к смерти метить. Нет, брат, совесть у меня не бумажная. Меня не купишь. Теперь одна путь — жаловаться.

— Кому?— спросил слуга...— Царю Гороху?

— Как кому? Губернатору. Земству. А не поможет — в суд!..

— Мечты!— вздохнул слуга и затоптал папироску.— С такими словами ты лучше к Петру Ильичу не приступай.

— Это мы ещё поглядим!

— Ну и сиди — дожидайся!— рассердился слуга.— Только имей в виду, что ежели он заиграется, так до ночи не выйдет.

— Небось, выйдет! Ты меня не пугай. Я, брат, не из робких.

Слуга взял у Фени махотку с земляникой и ушёл в дом. Феня ещё долго сидела, пригорюнившись, смотрела перед собой удивлёнными глазами. Потом тихонько встала и, оглядываясь, пошла прочь по дороге. А Василий палил цигарки, скрёб грудь, ждал. Солнце уже перевалило к вечеру, от сосен пошли длинные тени, а музыка не затихала.

«Колдует!— подумал Василий, подняв голову, прислушался.— Господи, да ведь это как бы знакомое! Неужто наше, деревенское? «Среди долины ровныя»! Нет, не то. А схоже! Или то пастухи заиграли в лугах, скликая к вечеру стадо? Или то соловьи ударили сразу, будто сговорились, по окрестным кустам?..»

3

Когда в окнах заполыхал багровый закатный огонь, музыка наконец оборвалась. Несколько минут было тихо. Потом скрипнула дверь. Чайковский вышел на крыльцо, достал из

кожаного портсигара папиросу. Он был бледен, руки у него дрожали.

Василий поднялся, шагнул к Чайковскому... стащил с головы выгоревший картуз, всхлипнул.

— Ты что?— быстро спросил Чайковский и схватил Василия за плечо.— ...Что с тобой, Василий?

— Спаси!— прохрипел Василий.— Мочи моей нету! Криком бы кричал, да никто не отзовётся. Помоги, Пётр Ильич, не дай случиться палачеству!

Василий прижал к глазам рукав застиранной синей рубахи. Он долго не мог ничего выговорить, сморкался, а когда наконец рассказал всё как есть, то даже оторопел: никогда он не видел Петра Ильича в таком гневе.

Всё лицо у Чайковского пошло красными пятнами. Обернувшись к дому, он крикнул:

— Лошадей!

На крыльцо выскочил испуганный слуга:

— Звали, Пётр Ильич?

— Лошадей! Вели закладывать.

— Куда ехать-то?

— К губернатору.

Чайковский плохо помнил эту ночную поездку. Коляску подбрасывало на выбоинах и корнях. Лошади всхрапывали, пугались. С неба падали звёзды. Холодом ударяло в лицо из заболоченных чащ...

«Успею ли?— думал Чайковский.— В крайнем случае разбужу. Завтра начнут валить лес. Что за подлость такая!»

4

Губернатор отказался помочь композитору, потому что лес теперь принадлежал купцу Трощенко, который мог распоряжаться им по своему усмотрению. П. И. Чайковский рано утром поехал к купцу. Он хотел купить у него втридорога лес и таким образом спасти этот кусок земли.

В усадьбе Чайковский Трощенки не застал.

Уже рассвело. Весь усадебный двор зарос репейником. Среди репейника бегал по ржавой проволоке осипший пёс. Морда у него была в репьях, и пёс, немного полаяв, начинал тереть морду лапой, отдирая колючки.

На крыльцо вышел кривоногий человек в рыжих кудряшках. От него издали разило луком. Рыжий равнодушно посмотрел на коляску, на Чайковского и сказал, что Трощенко только что уехал на порубку.

— А вам он на что понадобился? — недовольно спросил рыжий. — Я ихний управитель.

Чайковский не ответил, дотронулся до спины кучера. Лошади с места взяли рысью...

По дороге обогнали лесорубов. Они шли с топорами, с гнущимися на плечах синеватыми пилами. Лесорубы попросили закурить и сказали, что Трощенко недалеко, на пятом квартале.

Около пятого квартала Чайковский остановил коляску, вышел и направился в ту сторону, где слышались голоса.

Трощенко, в сапогах и шляпе... ходил по лесу и сам метил топором сосны.

Чайковский подошёл, назвал себя. Трощенко спросил:

— Чем могу служить?

Чайковский коротко изложил своё предложение — перепродать ему на корню весь этот лес.

— Желаете округлить владения? — ласково спросил Трощенко. — Этому лесу цены нету. Слышите? — Трощенко ударил обухом топора по сосне. — Поёт древесина! А насчёт ваших слов надо подумать. Своего рода неожиданность. Всё дело, как сами понимаете, в цене. За свою цену я вам отдать не могу. Смысла нету...

— Назовите вашу цену. Торговаться я не собираюсь. Если цена будет сходная...

— Где вам торговаться! Вы человек возвышенных сфер

жизни. Я вам верную цену скажу...— Трощенко помолчал.— Десять тысяч будет, пожалуй, самая цена...

— Хорошо!— сказал Чайковский и почувствовал холодок под сердцем, будто поставил на карту всю жизнь.— Я согласен...

— Деньги-то у вас есть?— вдруг грубо спросил Трощенко.

— Будут... Я вам выдам вексель[1].

— Подо что? Под эту усадебку? Да ей две тысячи — красная цена!

— Усадьба это не моя. Вексель я выдам под свои сочинения.

— Так-с!..— протянул Трощенко и закурил.— Под музыку!.. Её послушать, конечно, приятно. Послушал — ушёл, а следа-то и нету!— Он протянул к Чайковскому ладонь и поскрёб по ней скрюченными пальцами.— Воздушная вещь... Векселя я, извините, не беру. Только наличными.

— Наличных сейчас у меня нет.

— На нет и суда нет!..

5

Он поехал домой, стараясь не вслушиваться в разносившийся по лесу стук топоров.

Лошади вынесли коляску на поляну. Кто-то впереди предостерегающе закричал. Кучер с ходу осадил лошадей.

Чайковский встал, схватился за плечо кучера. От подножия сосны, согнувшись, как воры, разбегались лесорубы.

Внезапно вся сосна от корней до вершины вздрогнула и застонала. Чайковский явственно слышал этот стон. Вершина сосны качнулась, дерево начало медленно клониться к дороге

---

[1] Ве́ксель — письменное обязательство уплатить кому-нибудь определённую сумму денег в назначенный срок.

и вдруг рухнуло, круша соседние сосны, ломая берёзы. С тяжким гулом сосна ударилась о землю, затрепетала всей хвоей и замерла. Лошади попятились и захрипели.

Это был миг, один только страшный миг смерти могучего дерева, жившего здесь двести лет. Чайковский стиснул зубы.

Вершина сосны загородила дорогу. Проехать было нельзя.

— Придётся ворочаться на большак, Пётр Ильич,— сказал кучер.

— Езжай! Я пешком пройду.

— Эх, обормоты!— вздохнул кучер, подбирая вожжи.— Рубить и то по-людски не умеют. Нешто дело — валить сначала большие деревья, а малые ломать в щепки? Ты сначала малые повали, тогда большое в просторе ляжет...

Чайковский подошёл к вершине поваленной сосны. Она лежала горой сочной и тёмной хвои... От её запаха першило в горле.

Тут же лежали обломанные сосной ветки берёз. Чайковский вспомнил, как берёзы пытались удержать падающую сосну, принять её на свои гибкие стволы, чтобы смягчить смертельное падение,— от него далеко окрест дрогнула земля.

Он быстро пошёл домой. То справа, то слева, то позади слышался гул падающих стволов. И всё так же тупо ухала земля. Птицы метались над порубкой. Даже облака, казалось, ускорили свой бег в равнодушной ко всему небесной синеве.

Чайковский всё ускорял шаги. Он почти бежал.

— Подлость!— бормотал он.— Мерзость чудовищная! Кто дал право человеку калечить и безобразить землю... Есть вещи, которые не оценить ни рублями, ни миллиардами рублей. Неужели так трудно понять... что могущество страны — не в одном материальном богатстве, но и в душе народа! Чем шире, свободнее эта душа, тем большего величия и силы достигает государство. А что воспитывает широту духа,

как не эта удивительная природа! Её нужно беречь, как мы бережём самую жизнь человека. Потомки никогда не простят нам опустошения земли, надругательства над тем, что по праву принадлежит не только нам, но и им.

Чайковский задыхался. Он уже не мог идти быстрее...

Значит, теперь он уже никогда не окончит начатую вчера работу. Придётся тотчас уехать, чтобы не видеть этого варварства.

Наступила разлука с любимыми местами.

Евгений Иванович Чарушин. (1901—1965)

КАБАН.

Я рисую животных.

Рано... Часов в семь-восемь в зоосаду никого не бывает. Рисовать удобно. Никто через плечо не заглядывает, не расспрашивает. Хорошо!

Только звери в клетках да я.

Рисую я оленя марала, Серёжку.

У него рога новые. Каждый год олени меняют рога. Старые отваливаются, а новые вырастают, сначала мягкие, тёплые, живые, не рога, а кровяной какой-то студень в кожаном пушистом чехле.

Потом студень твердеет, становится настоящим рогом, а кожа отпадает.

Сейчас у Серёжки на рогах кожа висит клочьями.

Утром все звери играют. Ягуар шар деревянный катает в клетке. Гималайский медведь-губач стоит на голове. Днём, при народе, он за конфетку стоит,— а сейчас сам забавляется.

Слон боком сторожа к стене придавил, метлу отнял и съел. Волки по клетке бегают, кружат: в одну сторону — в другую, в одну — в другую, рысью, быстро.

В общей птичьей загородке танцуют журавли-красавки, подпрыгивают, вертятся. А наш серый журавль их унимает. Баловства не любит. Чуть где-нибудь непорядок — суета или драка,— он не торопясь пришагает и ткнёт кого надо клювом. Начальник-птица! За это его и на птичьих дворах часто держат начальником.

У оленя Серёжки в рогах зуд. Он их чешет. Изгибается весь передо мной: то на меня бросится — пугает, то шею вытянет, приподнимает ноздри, противно сопит. Тоже пугает,— а может, подраться зовёт.

Забьёт передними острыми копытами землю, начнёт скакать по загородке телёнком и хвост поднимет. А сам чуть не с лошадь.

Интересно мне рисовать!

Рисую — и ничего не вижу, кроме оленя.

Хрустнуло что-то сзади. Оглянулся. И ничего не могу понять. Идут на меня шесть кабанов гуськом, передний в пяти шагах от меня.

А решётка-то где перед ними? А решётки-то нет! Вырвались на волю!

Всё у меня из рук попадало. И полез я на Серёжкину загородку. Залез и сижу.

Подо мной с одной стороны Сергей буянит, на задних ногах ходит, меня хочет сшибить с загородки, растоптать, забодать.

Пена изо рта тянется.

А с другой — кабаны.

Громадные, с жёлтыми клыками, в щетине, в щётке. Толпятся, на меня не смотрят, не умеют голову поднимать, смотреть вверх. Сверху узкие, как рыбы,— только клыки торчат в стороны.



Прощай, моя акварель! Сжевали вместе с деревянным ящиком.

А что если меня или ещё кого-нибудь так сжуют?

Делать что-то надо! Да что делать-то? Заорать — прибежит кто-нибудь на крик, а они — на него. Догонят, повалят!

Полезу лучше к забору. К забору — по загородке, за забором улица. По телефону в пожарную часть позвоню, администрации скажу...

Ползу, перебираюсь по загородке, будто по небоскрёбу. Свалишься — тут и смерть тебе: справа Сергей сопит, танцует, слева кабаны чавкают, идут толпой.

Верхняя доска на загородке подо мной качаться стала, старая совсем; вспотел я со страху.

Вдруг — крик!

— Сашка, Машка, Яшка, Прошка, Акулька!

Чуть я не слетел! Едва-едва удержался.

Маленький парнишка забежал в кабанью толпу и стегает кабанов хворостиной.

— Обратно!— кричит.— Я вас!

Повернулись кабаны. Простыми свиньями побежали в свой хлев — в свою клетку.

А парнишка их подгоняет прутиком.

Похрюкивают кабаны, бегут, хвостиками вертят.

Загнал в клетку и запер.

Тут я быстро-быстро с решётки слез, чтобы парнишка не заметил, и ходу из сада.

Стыдно стало. Кабаны-то ручные!

Виктор Петрович Астафьев. (р. 1924)

СТРИЖОНОК СКРИП

1

Стрижонок вылупился из яичка в тёмной норке и пискнул. Ничего не было видно. Лишь далеко-далеко тускло мерцало пятнышко света. Стрижонок испугался этого света, плотнее приник к тёплой и мягкой маме-стрижихе. Она прижала его крылышком к себе. Он задремал, угревшись под крылом. Где-то шёл дождь, падали одна за другой капли, и стрижонку казалось, что это мама-стрижиха стучит клювом по скорлупке яйца. Она так же стучала, перед тем как выпустить его наружу.

Стрижонок проснулся оттого, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него завозились и запищали голенькие стрижата, которых мама-стрижиха тоже выклевала из яиц.

А самой мамы не было.

— Скрип! — позвал её стрижонок.

— Скрип! Скрип! Скрип! — повторили за ним братья и сёстры.

Видно, стрижатам нравилось, что они научились звать маму, и они ещё громче и дружней запищали:

— Скрип! Скрип! Скрип!

И тут далёкое пятнышко света погасло. Стрижата притихли.

— Скрип! — послышалось издалека.

«Так это ж мама прилетела!» — догадались стрижата и запищали веселей.

Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала её Скрипу — первому стрижонку.

4 Зак. 3850 Голованова, кн. 2, ч. 1

Какая это была вкусная капля! Стрижонок Скрип проглотил её и пожалел, что капля такая маленькая.

— Скрип! — сказал он. Ещё, мол, хочу.

— Скрип-скрип! — радостно ответила мама-стрижиха. Сейчас, дескать, сейчас.

2

И опять её не стало. И опять стрижата тоскливо запищали. А первый стрижонок кричал громче всех. Ему очень уж понравилось, как мама-стрижиха поила его из клюва.

И когда снова закрылся свет вдали, он что было духу закричал: «Скрип!» — и даже полез навстречу маме. Но тут же был откинут крылом на место, да так бесцеремонно, что чуть было кверху лапками не опрокинулся. И каплю вторую мама отдала не ему, а другому стрижонку.

Обидно. Примолк стрижонок Скрип, рассердился он на маму и братьев с сестрёнками, которые тоже, оказывается, хотели есть. Когда мама принесла мошку и отдала её другому стрижонку, Скрип попытался отнять её. Тогда мама-стрижиха так долбану́ла Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других.

Понял стрижонок, какая у них серьёзная и строгая мама. Её не разжалобишь писком.

Так начал жить в норке стрижонок Скрип вместе с братьями и сёстрами.

Таких норок в глиняном берегу над рекой было очень много. В каждой норке жили берегові́е стрижата, а точнее, ласточки-берегову́шки. И были у них папа и мама. А вот у стрижонка Скрипа папы не было. Его сшибли из рогатки мальчишки. Он упал в воду, и его унесло куда-то. Конечно, стрижата не знали об этом.

Маме-стрижихе было очень тяжело одной прокормить детей. Но она была старательная мать. С рассвета и до вечера носилась она над берегом и рекой, схватывала на лету мошек,

комариков, дождевые капли. Приносила их детям. А мальчишки, сидевшие с удочкой на берегу, думали, что стрижиха и все стрижи играют над рекой.

3

Стрижонок Скрип подрос. У него появились перья, ему всё время хотелось есть. Иногда ему удавалось отобрать у брата или сестрёнки мошку, и тогда они жалобно и недовольно пищали. За это Скрипу попадало от мамы-стрижихи. Но ему так хотелось есть, так хотелось есть!

А ещё ему хотелось выползти из норки и посмотреть, что же оно там такое, дальше этого пятнышка света, откуда мама-стрижиха приносит еду и ве́треные запахи на крыльях.

Пополз стрижонок Скрип. И чем дальше он полз, тем больше и ярче делался свет.

Бо́язно!

Но Скрип был храбрый стрижонок, он полз и полз, перебирая короткими лапками. Наверно, он выпал бы из норки и разбился, как разбиваются такие вот неразумные птенцы. Но тут появилась мама-стрижиха, схватила его, уволокла в глубь норки и раз-раз клювом по голове.

Очень рассердилась мама-стрижиха, очень сильно била Скрипа. Должно быть, там, за норкой, опасно, раз мама-стрижиха волнуется. Конечно, откуда было Скрипу знать, сколько врагов у маленьких проворных стрижей!

Сидит на вершине берёзы страшный быстрый коршун и подстерегает их. Скоком-прыгом подходит к норкам горластая и жадная ворона. Тихо ползёт меж камней чёрная гадюка.

Побольше подрос Скрип, догадываться об этом стал. Ему делалось жутко, когда там, за норкой, раздавалось пронзительное: «Ти́у!» Тогда мама-стрижиха бросала всё, и даже мошку или каплю воды, и, тоже крикнув грозное «тиу!», мчалась из норки.

И все стрижи с криком «тиу!» высыпа́ли из норок и набрасывались на врага. Пусть этот враг хоть сокол, хоть коршун, хоть кто, пусть он хоть в сто раз больше стрижей, они всё равно не боялись его. Дружно налетали стрижи, все как один. Коршун и ворона скорей-скорей убирались в лес, а гадюка пряталась под камень и со страху шипела.

4

Однажды мама-стрижиха вылетела на битву с разбойником-коршуном.

Коршун был не только быстрый, но и хитрый. Он сделал вид, что отступает. Вожак стрижей — Белое брюшко — дал отбой, крикнув победоносное «тиу!». Но мама-стрижиха ещё гналась за врагом-коршуном, чтоб уж навсегда отвадить его от стрижиных норок.

Тут коршун круто развернулся, ударил маму-стрижиху и унёс в когтях. Только щепотка перьев кружилась в воздухе.

Долго ждал стрижонок Скрип маму. Он звал её. И братцы и сестрёнки тоже звали. Мама-стрижиха не появлялась, не приносила еду.

Потускнело пятнышко света. Настала ночь. Утихло всё на реке. Утихли стрижи и стрижата, пригретые мамами и папами. И только Скрип с братьями и сёстрами был без мамы.

Сбились в кучу стрижата. Холодно без мамы. Голодно. Видно, пропадать придётся.

Но Скрип ещё не знал, какой дружный народ стрижи! Ночью в норку нырнул вожак Белое брюшко, пощекотал птенцов клювом, обнял их крыльями, и они пригрелись, уснули. А когда рассвело, в норку к Скрипу наведалась соседка-стрижиха и принесла большого комара. Потом залетали ещё стрижи и стрижихи и приносили еду и капли воды. А на ночь к осиротевшим стрижатам снова залетел вожак Белое брюшко.



5

Выросли стрижата, не пропали. Пришла пора покидать им родную норку, как говорят, становиться на крыло — самим добывать себе пищу и строить свой дом.

Как это было радостно и жутко!

Скрип помнит, как появился в норке вожак Белое брюшко. Вместо того чтобы дать ему мошку или капельку, он ухватил Скрипа за шиворот и поволок из норки. Скрип упирался, пищал. Белое брюшко не обращал никакого внимания. Он подтащил Скрипа к краю норки и вытолкнул наружу.

Ну что было делать Скрипу? Не падать же? Он растопырил крылья и... полетел! И тут на него набросились все стрижи, старые и молодые. Все-все! И погнали его от норки навстречу ветру, навстречу ослепительному солнцу.

— Скрип! Скрип!— испуганно закричал стрижонок, захлебнувшись ветром, и увидел под собой воду.— Скрип! Скрип!

«А если я упаду?» — с ужасом подумал он.

Но стрижи не давали ему упасть. Они гоняли его кругами над водой, над берегом, над лесом.

Потом крики стрижей остались позади. Свист крыльев и гомон птичий угасли. И тут стрижонок Скрип с удивлением увидел, что он уже сам, один летает над рекой! И от этого сделалось так радостно, что он взмыл высоко-высоко и крикнул оттуда солнцу, реке, всему миру: «Скрип!» — и закружился, закружился над рекой, над берегом, над лесом. Даже в облако один раз залетел. Но там ему не понравилось — темновато и одиноко. Он спикировал вниз и заскользил над водою, чуть не касаясь брюшком её.

Хорошо жить! Хорошо, когда умеешь летать! Скрип! Скрип! Скрип!

А потом Скрип и сам стал помогать стрижам — вытаскивал из нор стрижат и тоже гнал их над рекой вместе со всеми стрижами и кричал:

«Скрип! Скрип! Держи его! Догоняй!»

6

Скрип много съел в этот день мошек, много выпил воды. На закате солнца он ещё раз плюхнулся белым брюшко́м в воду... и полетел, унося на перьях сверкающие брызги. Он поспешил к своей норке. Но найти её не смог. Ведь снаружи он никогда не видел свою норку, а сейчас все норки казались ему одинаковыми.

Скрип сунулся в одну норку — не пускают, в другую — не пускают. Все стрижиные дома заняты. Что делать? Не ночевать же на берегу! На берегу страшно. В норке лучше.

И Скрип начал делать свою норку. Выскребал глину остренькими коготками, выклёвывал её и уносил к воде, снова возвращался к я́ру и опять клевал, скрёб — почти весь уже залез в землю.

Устал Скрип, есть захотел и решил, что такого домика ему

вполне хватит. Он немного покормился над рекой и завалился опять в неглубокую свою норку.

Неподалёку рыбачили мальчишки. Они пришли к стрижиному яру. Один мальчишка засунул руку в недостроенный дом Скрипа и вынул его. Что только не пережил Скрип, пока его держали в руках и поглаживали громадными пальцами!

Но ничего попались ребятишки, хорошие, выпустили Скрипа. Он полетел над рекой и со страху закричал: «Тиу! Тиу!»

Все стрижи высыпали из норок, глядят — никого нет. Ребятишки уже ушли, коршун не летает. Чуть было не побили стрижи Скрипа за то, что напрасно поднял тревогу, но пожалели — молодой ещё.

Тут понял Скрип, что в маленькой норке не житьё, и принялся снова работать. Он так много раз подлетал к своей норке, чтобы унести глину, так пробивался в глубь яра, что норку эту отличал уже ото всех.

7

Как-то опять пришли мальчишки, засунули руку, чтобы вытащить Скрипа, достать не могут. Скрип вертел головой и, должно быть, думал: «Шалишь, братцы-мальчишки! Теперь уж меня не возьмёшь».

Хорошо, спокойно жилось в своей норке. Скрип сделался стремительным, сильным, вёртко уходил от коршуна, если был один, и отважно нападал на него вместе со всей стаей. Всё бы хорошо. Но вот отчего-то сделались беспокойными стрижи. Они уже не залетали в свои норки, садились на землю, клевали глину у осенних луж или молчаливыми рядами лепились на провода и часами сидели на них неподвижно. Тревога их передалась и Скрипу. Он стал ждать, сам не зная чего. И в конце августа на рассвете вдруг услышал призывный голос вожака Белое брюшко.

— Тиу!

В голосе вожака на этот раз не было угрозы — нет, не на битву он звал.

Взмыл Скрип высоко-высоко и видит — тучи стрижей летят к горизонту.

— Тиу!— звал вожак.

И стайка Скрипа помчалась вдаль, смешалась с другими стаями. Стрижей было так много, что они почти заслонили собой засветившуюся утреннюю зарю, и небо рябило от мчащихся птиц.

— Скрип! Скрип!— тревожно и тоскливо кричали стрижи, прощаясь до следующего лета с родным краем.

— Скрип! До свидания!— крикнул и стрижонок Скрип и помчался за леса, за горы, за край земли.

— До свидания, Скрип! До свидания! Прилетай снова к нам!— кричали вслед Скрипу мальчишки-рыбаки, не проспавшие утренний клёв.

Стрижи улетают в одну ночь и уносят с собою лето...

Скучно без стрижей на реке. Чего-то не хватает. Где ты, маленький Скрип? В каких краях и странах? Возвращайся скорее! Приноси нам на крыльях лето!



Вопросы и задания.

1. Почему М. М. Пришвин именно так назвал свой рассказ «Выскочка»?

2. Можем ли мы сравнить поведение птицы с поведением человека?

3. Как ты думаешь, почему рассказ К. Г. Паустовского «Скрипучие половицы» помещён с рассказами о природе в одном разделе? Когда писатель рассказывает нам о жизни животных или растений, о лесе или о реке, он всегда показывает нам отношение человека к природе, даёт понять, что все живые существа на планете связаны между собой и зависят друг от друга.

4. Можешь ли ты предположить, что будет с тем уголком природы, где полностью вырубят лес? Постарайся найти слова, чтобы убедить купца не губить лес.

5. Каких животных описывает Е. И. Чарушин в своём рассказе «Кабан»? Кто из обитателей зоопарка понравился тебе больше всех? Опиши его.

6. Перескажи рассказ Е. И. Чарушина так, чтобы было смешно. Подумай, как этого можно добиться.

7. Почему стрижонок из рассказа В. П. Астафьева не погиб от голода и других опасностей?

8. Вспомни рассказ Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приёмыш». Сравни, как учат птенцов летать лебеди, а как стрижи. Что общего в рассказах В. П. Астафьева и Д. Н. Мамина-Сибиряка?

9. Перечитай рассказы Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приёмыш» и В. П. Астафьева «Стрижонок Скрип». Подбери и выпиши в тетрадь по чтению в две колонки эпитеты для описания лебедей и стрижей. Чем тебе нравятся эти птицы?



ДЕЛУ ВРЕМЯ — ПОТЕХЕ ЧАС.

Евгений Львович Шварц. (1896—1958)

СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ.

Жил-был мальчик по имени Петя Зубов. Учился он в третьем классе четырнадцатой школы и всё время отставал, и по русскому письменному, и по арифметике, и даже по пению.

— Успею! — говорил он в конце первой четверти. — Во второй вас всех догоню.

А приходила вторая — он надеялся на третью. Так он опаздывал да отставал, отставал да опаздывал и не тужил. Всё «успею» да «успею».

И вот однажды пришёл Петя Зубов в школу, как всегда, с опозданием. Вбежал в раздевалку. Шлёпнул портфелем по загородке и крикнул:

— Тётя Наташа! Возьмите моё пальтишко!

А тётя Наташа спрашивает откуда-то из-за вешалок:

— Кто меня зовёт?

— Это я. Петя Зубов,— отвечает мальчик.

— А почему у тебя сегодня голос такой хриплый?— спрашивает тётя Наташа.

— А я и сам удивляюсь,— отвечает Петя.— Вдруг охрип ни с того ни с сего.

Вышла тётя Наташа из-за вешалок, взглянула на Петю, да как вскрикнет:

— Ой!

Петя Зубов тоже испугался и спрашивает:

— Тётя Наташа, что с вами?

— Как что?— отвечает тётя Наташа.— Вы говорили, что вы Петя Зубов, а на самом деле вы, должно быть, его дедушка.

— Какой же я дедушка?— спрашивает мальчик.— Я — Петя, ученик третьего класса.

— Да вы посмотрите в зеркало!— говорит тётя Наташа.

Взглянул мальчик в зеркало и чуть не упал. Увидел Петя Зубов, что превратился он в высокого, худого, бледного старика. Выросли у него окладистая борода, усы. Морщины покрыли сеткою лицо.

Смотрел на себя Петя, смотрел, и затряслась его седая борода.

Крикнул он басом:

— Мама!— и выбежал прочь из школы.

Бежит он и думает:

«Ну, уж если и мама меня не узнает, тогда всё пропало».

Прибежал Петя домой и позвонил три раза.

Мама открыла ему дверь.

Смотрит на Петю и молчит. И Петя молчит тоже. Стоит, выставив свою седую бороду, и чуть не плачет.

— Вам кого, дедушка?— спросила мама наконец.

— Ты меня не узнаёшь?— прошептал Петя.

— Простите — нет,— ответила мама.

Отвернулся бедный Петя и пошёл куда глаза глядят.

Идёт он и думает:

— Какой я одинокий, несчастный старик. Ни мамы, ни детей, ни внуков, ни друзей... И главное, ничему не успел научиться. Настоящие старики — те или доктора, или мастера, или академики, или учителя. А кому я нужен, когда я всего только ученик третьего класса? Мне даже и пенсии не дадут: ведь я всего только три года работал. Да и как работал — на двойки да на тройки. Что же со мною будет? Бедный я старик! Несчастный я мальчик! Чем же всё это кончится?

Так Петя думал и шагал, шагал и думал и сам не заметил, как вышел за город и попал в лес. И шёл он по лесу, пока не стемнело.

«Хорошо бы отдохнуть»,— подумал Петя и вдруг увидел, что в стороне, за ёлками, белеет какой-то домик. Вошёл Петя в домик — хозяев нет. Стоит посреди комнаты стол. Над ним висит керосиновая лампа. Вокруг стола — четыре табуретки. Ходики тикают на стене. А в углу горою навалено сено.

Лёг Петя в сено, зарылся в него поглубже, согрелся, поплакал тихонько, утёр слёзы бородой и уснул.

Просыпается Петя — в комнате светло, керосиновая лампа горит под стеклом. А вокруг стола сидят ребята — два мальчика и две девочки. Большие, окованные медью счёты лежат перед ними. Ребята считают и бормочут:

— Два года, да ещё пять, да ещё семь, да ещё три... Это вам, Сергей Владимирович, а это ваши, Ольга Капитоновна, а это вам, Марфа Васильевна, а это ваши, Пантелей Захарович.

Что это за ребята? Почему они такие хмурые? Почему кряхтят они, и охают, и вздыхают, как настоящие

старики? Почему называют друг друга по имени-отчеству? Зачем собрались они ночью здесь, в одинокой лесной избушке?

Замер Петя Зубов, не дышит, ловит каждое слово. И страшно ему стало от того, что услышал он.

Не мальчики и девочки, а злые волшебники и злые волшебницы сидели за столом! Вот ведь как, оказывается, устроено на свете: человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. И злые волшебники разведали об этом и давай ловить ребят, теряющих время понапрасну. И вот поймали волшебники Петю Зубова, и ещё одного мальчика, и ещё двух девочек и превратили их в стариков. Состарились бедные дети, и сами этого не заметили — ведь человек, напрасно теряющий время, не замечает, как стареет. А время, потерянное ребятами, забрали волшебники себе. И стали волшебники малыми ребятами, а ребята — старыми стариками.

Как быть?

Что делать?

Да неужели же не вернуть ребятам потерянной молодости?

Подсчитали волшебники время, хотели уже спрятать счёты в стол, но Сергей Владимирович, главный из них, не позволил. Взял он счёты и подошёл к ходикам. Покрутил стрелки, подёргал гири, послушал, как тикает маятник, и опять защёлкал на счётах.

Считал, считал он, шептал, шептал, пока не показали ходики полночь. Тогда смешал Сергей Владимирович костяшки и ещё раз проверил, сколько получилось у него.

Потом подозвал он волшебников к себе и заговорил негромко:

— Господа волшебники! Знайте — ребята, которых мы превратили сегодня в стариков, ещё могут помолодеть.

— Как? — воскликнули волшебники.

— Сейчас скажу,— ответил Сергей Владимирович.

Он вышел на цыпочках из домика, обошёл его кругом, вернулся, запер дверь на задвижку и поворошил сено палкой.

Петя Зубов замер, как мышка.

Но керосиновая лампа светила тускло, и злой волшебник не увидел Пети. Подозвал он остальных волшебников к себе поближе и заговорил негромко:

— К сожалению, так устроено на свете: от любого несчастья может спастись человек. Если ребята, которых мы превратили в стариков, разыщут завтра друг друга, придут ровно в двенадцать часов ночи сюда к нам и повернут стрелку ходиков на семьдесят семь кругов обратно, то дети снова станут детьми, а мы погибнем.

Помолчали волшебники. Потом Ольга Капитоновна сказала:

— Откуда им всё это узнать?

А Пантелей Захарович проворчал:

— Не придут они сюда к двенадцати часам ночи. Хоть на минуту, да опоздают.

А Марфа Васильевна пробормотала:

— Да куда им! Да где им! Эти лентяи до семидесяти семи и сосчитать не сумеют, сразу собьются!

— Так-то оно так,— ответил Сергей Владимирович.— А всё-таки пока что держите ухо востро. Если доберутся ребята до ходиков, тронут стрелки — нам тогда и с места не сдвинуться. Ну а пока нечего время терять — идём на работу.

И волшебники, спрятав счёты в стол, побежали, как дети, но при этом кряхтели, охали и вздыхали, как настоящие старики. Дождался Петя Зубов, пока затихли в лесу шаги. Выбрался из домика. И, не теряя напрасно времени, прячась за деревьями и кустами, побежал, помчался в город искать стариков-школьников.

Город ещё не проснулся. Темно было в окнах, пусто на

улицах, только милиционеры стояли на постах. Но вот забрезжил рассвет. Зазвенели первые трамваи. И увидел наконец Петя Зубов — идёт не спеша по улице старушка с большой корзинкой.

Подбежал к ней Петя Зубов и спрашивает:

— Скажите, пожалуйста, бабушка,— вы не школьница?

— Что, что?— спросила старушка сурово.

— Вы не третьеклассница?— прошептал Петя робко.

А старушка как застучит ногами да как замахнётся на Петю корзинкой. Еле Петя ноги унёс. Отдышался он немного — дальше пошёл. А город уже совсем проснулся. Летят трамваи, спешат на работу люди. Грохочут грузовики — скорее, скорее надо сдать грузы в магазины, на заводы, на железную дорогу. Дворники счищают снег, посыпают панель песком, чтобы пешеходы не скользили, не падали, не теряли времени даром. Сколько раз видел всё это Петя Зубов и только теперь понял, почему так боятся люди не успеть, опоздать, отстать.

Оглядывается Петя, ищет стариков, но ни одного подходящего не находит. Бегут по улицам старики, но сразу видно — настоящие, не третьеклассники.

Вот старик с портфелем. Наверное, учитель. Вот старик с ведром и кистью — это маляр, а в машине старик — начальник пожарной охраны города. Этот, конечно, никогда в жизни не терял времени понапрасну.

Ходит Петя, бродит, а молодых стариков, старых детей, — нет как нет. Жизнь кругом так и кипит. Один он, Петя, отстал, опоздал, не успел, ни на что не годен, никому не нужен.

Ровно в полдень зашёл Петя в маленький скверик и сел на скамеечку отдохнуть.

И вдруг вскочил.

Увидел он — сидит недалеко на другой скамеечке старушка и плачет.

Хотел подбежать к ней Петя, но не посмел.

— Подожду!— сказал он сам себе.— Посмотрю, что она дальше делать будет.

А старушка перестала плакать, сидит, ногами болтает. Потом достала из кармана одного газету, а из другого кусок ситного с изюмом. Развернула старушка газету — Петя ахнул от радости: «Пионерская правда»!— и принялась читать и есть. Изюм выковыривает, а самый ситный не трогает.

Кончила старушка читать, спрятала газету и ситный и вдруг что-то увидела в снегу. Наклонилась она и схватила мячик. Наверное, кто-нибудь из детей, игравших в сквере, потерял этот мячик в снегу.

Оглядела старушка мячик со всех сторон, обтёрла его старательно платочком, встала, подошла не спеша к дереву и давай играть в трёшки.

Бросился к ней Петя через снег, через кусты. Бежит и кричит:

— Бабушка! Честное слово, вы школьница!

Старушка подпрыгнула от радости, схватила Петю за руки и отвечает:

— Верно, верно! Я ученица третьего класса Маруся Поспелова. А вы кто такой?

Рассказал Петя Марусе, кто он такой. Взялись они за руки, побежали искать остальных товарищей. Искали час, другой, третий. Наконец зашли во двор огромного дома. И видят: за дровяным сараем прыгает старушка. Нарисовала мелом на асфальте классы и скачет на одной ножке, гоняет камешек.

Бросились Петя и Маруся к ней.

— Бабушка! Вы школьница?

— Школьница,— отвечает старушка.— Ученица третьего класса Наденька Соколова. А вы кто такие?

Рассказали ей Петя и Маруся, кто они такие. Взялись все трое за руки, побежали искать последнего своего товарища.

Но он как сквозь землю провалился. Куда только не заходили старики — и во дворы, и в сады, и в детские театры, и в детские кино, и в Дом Занимательной Науки — пропал мальчик, да и только.

А время идёт. Уже стало темнеть. Уже в нижних этажах домов зажёгся свет. Кончается день. Что делать? Неужели всё пропало?

Вдруг Маруся закричала:

— Смотрите! Смотрите!

Посмотрели Петя и Наденька и вот что увидели: летит трамвай, девятый номер. А на «колбасе» висит старичок. Шапка лихо надвинута на ухо, борода развевается по ветру. Едет старик и посвистывает. Товарищи его ищут, с ног сбились, а он катается себе по всему городу и в ус не дует!

Бросились ребята за трамваем вдогонку. На их счастье зажёгся на перекрёстке красный огонь, остановился трамвай.

Схватили ребята «колбасника» за полы, оторвали от «колбасы».

— Ты школьник? — спрашивают.

— А как же? — отвечает он. — Ученик второго класса Зайцев Вася. А вам чего?

Рассказали ему ребята, кто они такие.

Чтобы не терять времени даром, сели они все четверо в трамвай и поехали за город к лесу.

Какие-то школьники ехали в этом же трамвае. Встали они, уступают нашим старикам место:

— Садитесь, пожалуйста, дедушки, бабушки.

Смутились старики, покраснели и отказались.

А школьники, как нарочно, попались вежливые, воспитанные, просят стариков, уговаривают:

— Да садитесь же! Вы за свою долгую жизнь наработались, устали. Сидите теперь, отдыхайте.

Тут, к счастью, подошёл трамвай к лесу, соскочили наши старики — и в чащу бегом.



Но тут ждала их новая беда. Заблудились они в лесу. Наступила ночь, тёмная-тёмная. Бродят старики по лесу, падают, спотыкаются, а дороги не находят.

— Ах, время, время! — говорит Петя. — Бежит оно, бежит. Я вчера не заметил дороги обратно к домику — боялся время потерять. А теперь вижу, что иногда лучше потратить немножко времени, чтобы потом его сберечь.

Совсем выбились из сил старички. Но, на их счастье, подул ветер, очистилось небо от туч и засияла на небе полная луна.

Влез Петя Зубов на берёзу и увидел — вон он, домик, в двух шагах белеют его стены, светятся окна среди густых ёлок.

Спустился Петя вниз и шепнул товарищам:

— Тише! Ни слова! За мной!

Поползли ребята по снегу к домику. Заглянули осторожно в окно.

Ходики показывают без пяти минут двенадцать. Волшебники лежат на сене, берегут украденное время.

— Они спят! — сказала Маруся.

— Тише! — прошептал Петя.

Тихо-тихо открыли ребята дверь и поползли к ходикам. Без одной минуты двенадцать встали у часов. Ровно в полночь протянул Петя руку к стрелкам и — раз, два, три — закрутил их обратно, справа налево.

С криком вскочили волшебники, но не могли сдвинуться с места. Стоят и растут, растут. Вот превратились они во взрослых людей, вот седые волосы заблестели у них на висках, покрылись морщинами щёки.

— Поднимите меня! — закричал Петя. — Я делаюсь маленьким, я не достаю до стрелок! Тридцать один, тридцать два, тридцать три!

Подняли товарищи Петю на руки. На сороковом обороте стрелок волшебники стали дряхлыми, сгорбленными старичками. Всё ближе пригибало их к земле, всё ниже становились они. И вот на семьдесят седьмом и последнем обороте стрелок вскрикнули злые волшебники и пропали, как будто их и не было на свете.

Посмотрели ребята друг на друга и засмеялись от радости. Они снова стали детьми. С бою взяли, чудом вернули они потерянное понапрасну время.

Они-то спаслись, но ты помни: человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет.

Виктор Юзефович Драгунский. (1913—1972)

АНГЛИЧАНИН ПАВЕЛ.

Мы ели арбуз, когда дверь открылась и в комнату вошёл Павел. Мы все очень обрадовались, потому что он давно уже не был у нас и мы по нему соскучились.

— О, кто к нам пришёл?— сказал папа.— Сам Павел.

— Садись с нами, Павел, арбуз есть,— сказала мама.

Я сказал:

— Привет!

Он сказал:

— Привет!— и сел.

И мы начали есть, и долго ели и молчали, потому что арбуз был очень вкусный.

— Почему ты, Павел, так давно не был у нас?— спросил папа.

— Да,— сказал я.— Где ты был? Что ты делал?

— Что делал... Английский изучал, вот что делал,— небрежно сказал Павел.

— Вот, Дениска, бери пример,— сказала мама.— Это тебе не футбол.

— Молодец!— сказал папа.— Уважаю! А как же ты занимался?

— К нам в гости приехал студент Сева. Так вот он со мной каждый день занимается. Вот уже два месяца.

— А что, трудный английский язык?— спросил я.

— Очень,— вздохнул Павел.— Я очень устал от этих занятий. Похудел на двести граммов.

— Так почему же ты, когда вошёл, не сказал нам по-английски «здравствуйте»?— спросила мама.



— Я «здравствуйте» ещё не изучал,— сказал Павел.

— А вот ты арбуз ел, почему не сказал «спасибо»?

— Я сказал.

— Ну да, по-русски ты сказал, а по-английски?

— И «спасибо» я ещё не знаю.

Тогда я сказал:

— Павлик! А ты научи меня, как по-английски «раз», «два», «три».

— Я этого ещё не изучал,— сказал Павел.

— Так что же ты изучал?!— закричал я.— Ты ведь занимался два месяца!

— Я изучал, как по-английски «Петя»,— сказал Павел.

— Ну, как?

— «Пит»!— торжественно произнёс Павел.— По-английски «Петя» будет «Пит».— Он радостно засмеялся и добавил:— Вот завтра приду в класс и скажу Петьке Горбушкину: «Пит, дай ластик!» Он, наверное, ничего не поймёт. Вот смешно-то будет. Верно, Денис?

— Верно,— сказал я.— Ну, а что ты ещё знаешь по-английски?

— Это всё, что я пока знаю,— сказал Павел.

ЧТО ЛЮБИТ МИШКА.

Один раз мы с Мишкой вошли в зал, где у нас бывают уроки пения. Борис Сергеевич сидел за роялем и что-то тихо играл. Мы с Мишкой сели на окно и сидели тихо, чтобы не мешать, а он нас не замечал и продолжал играть. Мне очень нравились радостные и приветливые звуки, и я долго мог бы так сидеть и слушать. Но Борис Сергеевич закрыл крышку рояля, увидел нас и весело сказал:

— О! Какие люди! Сидят, как два воробья на ветке! Что скажете?

Я спросил:

— Что это вы играли, Борис Сергеевич?

Он ответил:

— Это Шопен. Я его очень люблю.

Я сказал:

— Понятно. Вы учитель пения, поэтому и любите разные песенки.

Он сказал:

— Это не песенка. То, что я играл, больше чем простая «песенка».

Я спросил:

— Что же это?

Он серьёзно ответил:

— Му-зы-ка. Шопен — великий композитор. Он сочинил чудесную музыку. А я люблю музыку больше всего на свете.

Он посмотрел на меня внимательно и спросил:

— Ну, а ты что любишь? Больше всего на свете!

Я ответил:

— Я много чего люблю.

И я рассказал про собаку, и про то, как я строгаю, и про слонёнка, и про лань с розовыми копытами, и про древних воинов, и про лошадиные лица, и про всё, всё...

Он слушал меня внимательно, а потом сказал:



— Удивительно! А я и не знал. Ты ещё маленький, а любишь так много! Целый мир!

В наш разговор вмешался Мишка.

Он сказал:

— А я ещё больше Дениса люблю!

Борис Сергеевич засмеялся и сказал:

— Очень интересно! Теперь твоя очередь, что же ты любишь?

Мишка подумал немного и начал:

— Я люблю булки, батоны и кекс. Я люблю хлеб, торт и пирожные. Пирожки люблю тоже, с мясом, джемом, капустой и рисом. И горячо люблю кильки, икру и картошку, особенно жареную. Можно и варёную.

Варёную колбасу люблю очень сильно — могу съесть на спор целый килограмм. Копчёную колбасу люблю больше всего! Очень люблю макароны с маслом, сыр — с дырочками и без дырочек, с красной коркой или с белой — всё равно.

Люблю яблоки, котлеты, суп из фасоли, зелёный горошек, мясо, сахар, чай, яйца. Так... Про конфеты — говорить не

буду. Кто их не любит? Ах, да! Я всей душой люблю мороженое.

Мишка посмотрел на потолок и вздохнул. Видно, он уже здорово устал.

Борис Сергеевич внимательно смотрел на него, и Мишка поехал дальше. Он бормотал:

— Морковь, рыбу, бананы, пирожные, про пирожки я уже говорил. Бульон, компот, колбасу, колбасу я тоже говорил...

Мишка замолчал. Было ясно, что он ждёт, когда Борис Сергеевич его похвалит. Но тот молчал, только внимательно смотрел на Мишку. Мишка тоже молчал...

Первым заговорил Борис Сергеевич:

— Ты многое, конечно, любишь, но всё это какое-то одинаковое, съедобное. Получается целый продуктовый магазин. И только. А люди? Кого ты любишь? А животные?

Тут Мишка покраснел и сказал:

— Ой, совсем забыл! Ещё — котят! И бабушку!

Виктор Владимирович Голявкин. (р. 1929)

НИКАКОЙ Я ГОРЧИЦЫ НЕ ЕЛ

Сумку я спрятал под лестницу. А сам за угол завернул, на проспект вышел.

Весна. Солнышко. Птички поют. Неохота как-то в школу. Любому ведь надоест. Вот и мне надоело.

Иду, витрины разглядываю, во весь голос песни пою. Попробуй в классе запой — сразу выгонят. А тут пой, сколько твоей душе угодно. Так до конца проспекта дошёл. Потом обратно. Хорошо ходить! Ходи себе и ходи.

Смотрю — машина стоит, шофёр что-то в моторе смотрит. Я его спрашиваю:

— Поломалась?

Молчит шофёр.

— Поломалась? — спрашиваю.

Он молчит.

Я постоял, постоял, говорю:

— Что, поломалась машина?

На этот раз он услышал.

— Угадал, — говорит, — поломалась. Помочь хочешь? Ну, давай чинить вместе.

— Да я... не умею...

— Раз не умеешь, не надо. Я уж как-нибудь сам.

Что мне оставалось делать? Вздохнул и дальше пошёл.

Вон двое стоят. Разговаривают. Подхожу поближе. Прислушиваюсь. Один говорит:

— Как с патентом[1]?

Другой говорит:

— Хорошо с патентом.

«Что это, — думаю, — патент? Никогда я про него не слышал». Я думал, они про патент ещё скажут. А они про патент ничего не сказали больше. Про завод стали что-то рассказывать. Один заметил меня, говорит другому:

— Гляди-ка, парень как рот раскрыл.

И ко мне обращается:

— Что тебе?

— Мне ничего, — отвечаю, — я просто так...

— Тебе нечего делать?

— Ага.

— Вот хорошо! Видишь, вон дом кривой?

— Вижу.

— Пойди подтолкни его с того боку, чтоб он ровный был.

---

[1] Патент — документ, дающий изобретателю исключительное право на изобретение.

— Как это?

— А так. Тебе ведь нечего делать. Ты и подтолкни его.

И смеются оба.

Я что-то ответить хотел, но не мог придумать. По дороге придумал, вернулся к ним.

— Не смешно,— говорю,— а вы смеётесь.

Они как будто не слышат.

Я опять:

— Не смешно совсем. Что вы смеётесь?

Тогда один говорит:

— Мы совсем не смеёмся. Где ты видишь, что мы смеёмся?

Они и правда уже не смеялись. Это раньше они смеялись. Значит, я опоздал немножко...

О! Метла у стены стоит. И никого рядом нету.

Дворник вдруг из ворот выходит.

— Не тронь метлу!

— Да зачем мне метла? Мне метлы не нужно...

— А не нужно, так не подходи к метле. Метла для работы, а не для того, чтобы к ней подходили.

Какой-то злой дворник попался! Метлы даже жалко.

Эх, чем бы заняться? Домой идти ещё рано. Уроки ещё не кончились. Ходить по улицам скучно. Ребят никого не видно.

На леса строительные залезть?! Как раз рядом дом ремонтируют. Погляжу сверху на город. Вдруг слышу голос:

— Куда лезешь? Эй!

Смотрю — нет никого. Вот это да! Никого нет, а кто-то кричит! Выше стал подниматься — опять:

— А ну слазь!

Головой верчу во все стороны. Откуда кричат? Что такое?

— Слезай! Эй! Слезай, слезай!

Перешёл на ту сторону улицы. Наверх, на леса смотрю. Интересно, кто это кричит? Вблизи я никого не видел. А издали всё увидел — рабочие на лесах штукатурят, красят...

Сел на трамвай, до кольца доехал. Всё равно идти некуда. Лучше буду кататься. Устал ходить.

Второй круг на трамвае сделал. На то же самое место приехал. Ещё круг проехать, что ли? Не время пока домой идти. Рановато. В окно вагона смотрю. Все спешат куда-то, торопятся. Куда это все спешат? Непонятно.

Вдруг кондукторша говорит:

— Плати, мальчик, снова.

— У меня больше денег нету.

— Тогда сходи, мальчик. Иди пешком.

— Ой, мне далеко пешком идти!

— А ты попусту не катайся. В школу, наверное, не пошёл?

— Откуда вы знаете?

— Я всё знаю. По тебе видно.

— А чего видно?

— Видно, что в школу ты не пошёл. Вот что видно. Из школы ребята весёлые едут. А ты как будто горчицей объелся.

— Никакой я горчицы не ел...

— Всё равно сходи. Прогульщиков я не вожу бесплатно.

А потом говорит:

— Ну уж ладно, катайся. В другой раз не разрешу. Так и знай.— Но я всё равно сошёл. Неудобно как-то.

Место совсем незнакомое. Никогда я в этом районе не был. С одной стороны дома стоят. С другой стороны нет домов; пять экскаваторов землю роют. Как слоны по земле шагают. Зачерпывают ковшами землю и в сторону сыплют. Вот это техника! Хорошо сидеть в будке. Куда лучше, чем в школу ходить. Сидишь себе, а он сам ходит, да ещё землю копает.

Один экскаватор остановился. Экскаваторщик слез на землю и говорит мне:

— В ковш хочешь попасть?

Я обиделся.

— Зачем мне в ковш? Я в кабину хочу.

И тут вспомнил я про горчицу, что кондукторша мне



сказала, и стал улыбаться. Чтоб экскаваторщик думал, что я весёлый. И совсем мне не скучно. Чтобы он не догадался, что я не был в школе.

Он посмотрел на меня удивлённо.

— Ты что?

— А что?

— Вид у тебя, брат, какой-то дурацкий.

Я ещё больше стал улыбаться. Рот чуть не до ушей растянул.

А он:

— Что с тобой?

— А чего?

— Что ты мне рожи строишь?

— На экскаваторе покатайте меня.

— Это тебе не троллейбус. Это машина рабочая. На ней люди работают. Ясно?

Я говорю:

— Я тоже хочу на нём работать.

Он говорит:

— Эге, брат! Учиться надо.

Я думал, что он про школу. И опять улыбаться стал. А он рукой на меня махнул и залез в кабину. Не захотел со мной разговаривать больше.

Весна. Солнышко. Воробьи в лужах купаются.

Но почему мне так скучно?



Вопросы и задания.

1. Объясни, как ты понимаешь название сказки Е. Л. Шварца. Что подразумевал писатель под «потерянным временем»? Знаешь ли ты, что в среднем за жизнь человек проживает 600—700 тысяч часов?

2. Многие сказки кончаются такими словами: «Сказка — ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок». О чём «намекнул» тебе Е. Л. Шварц в своей сказке?

3. Вспомни поговорки, в которых говорится о времени. Например: *Делу время — потехе час.*

4. Читал ли ты раньше рассказы В. Ю. Драгунского? Какой из них тебе запомнился и почему?

5. Как ты думаешь, в шутку или всерьёз автор называет героя своего рассказа англичанином? Обоснуй своё мнение.

6. Почему рассказ «Англичанин Павел» получился смешным? Как автору это удалось? Как вёл себя Павел, рассказывая о своих занятиях, и каким оказался результат этих занятий? Подумай, мог бы Павел оказаться в числе заколдованных ребят из «Сказки о потерянном времени». Почему?

7. Что, по-твоему, объединяет оба прочитанных рассказа В. Ю. Драгунского? Найди в рассказе «Что любит Мишка» наиболее смешной эпизод и прочитай его вслух. Почему список «любимых» Мишкиных вещей не понравился учителю? Расскажи, что ты любишь больше всего на свете. Попробуй записать. Что у тебя получилось?

8. Почему, по-твоему, мальчику было скучно в солнечный весенний день (рассказ В. Ю. Голявкина «Никакой горчицы я не ел»)? Что бы ты ему посоветовал сделать, чтобы он не чувствовал себя лишним?



СТРАНА «ФАНТАЗИЯ».

Евгений Серафимович Велтистов.

(р. 1934)

МИЛЛИОН И ОДИН ДЕНЬ КАНИКУЛ.

Глава восемнадцатая,

в которой встречаются миры с разными Стрелами времени.

Внезапно вокруг засверкал Фейерверк огней, заплясали языки белого пламени.

— Спокойствие!— предупредил спутников астрофизик с «Альфы».— Это самое редкое явление во Вселенной. Нам посчастливилось увидеть тахио́нов.

«Ты ошибаешься, землянин,— раздался в динамиках странный голос, с трудом напоминавший человеческий.— Тахионы, как вы нас называете, населяют космос так же, как вы свою планету. Но мы редко встречаемся...»

Огни постепенно выравнивались в столбы света. Они заметно колебались, озаряли темноту сильными вспышками и, казалось, едва удерживаются на одном месте.

— «Тахис» по-древнегречески «быстрый»,— вспомнил

вслух Карен и подскочил от внезапной догадки.— Это люди-свет?

«Мы не люди, мы не просто сверхсвет. Мы всё вместе: корабль, планета, разум, жизнь,— пояснили тахионы через динамики.— Частицы, из которых мы состоим, пока не открыты людьми. Вы лишь математически предполагаете о нашем существовании в природе».

— Спасибо,— поблагодарил отец Олега, физик, взволнованный увиденным и знакомым словом «математически».— Какая скорость вашего движения?

«Мы движемся быстрее света. Для вас это — конечная скорость. А для нас — только начало на пути к бесконечности. Такое движение обычно для тахионов, это наша жизнь...»

Люди узнали, что тахионы — вечные странники космоса — всегда движутся в противоположном направлении, чем вся известная человечеству Вселенная. Вот почему их никто никогда не встречал. И хотя иногда сверхбыстрые странники проносились совсем рядом с кораблями землян, два разных мира были невидимы друг другу.

Сейчас тахионы кружили вокруг дыры, освещая путь двум кораблям. Пока «Виктория» и «Альфа» облетали дыру со скоростью, близкой к скорости света, время в кораблях повернуло назад, совпало с течением времени тахионов, и связь миров стала возможной. Люди, беседовавшие с тахионами, говорили, конечно, непривычно — порядок слов в их речи был обратный, и тут же забывали услышанное и сказанное. Но они не замечали этого — точно так же, как и во время необычного обеда. Каждое событие в этот момент становилось как бы частью их будущего. Потом, когда ход времени вернётся в привычное русло, они вспомнят о встрече всё, до мельчайших подробностей...

В одной из старинных сказок двадцатого века королева страны Оз пересекает пустыню смерти. Она движется всегда



в одном направлении — по узкой ковровой дорожке, именуемой «Теперь»,— иначе ее ждёт гибель. Королева видит перед собой только «Теперь» и не может вернуться в свое «Вчера». Магический ковёр разворачивается впереди под ногами королевы и тут же сворачивается сзади нее...

Почему же ковёр времени для живущих на Земле никогда не разворачивается обратно? Почему прошлое для людей безвозвратно?

Стремительная световая дорожка «людей света», как назвал тахионов Карен, раскручивается в противоположном для Земли направлении. Но и для существ сверхсвета она не может повернуть обратно. Направлена только к их будущему, а не к прошлому.

Эти космические миры движутся «вперёд» и «назад» одновременно. Каждый, конечно, считает, что именно он нацелен вперёд, и каждый по-своему прав. Истины можно сравнить только в редких случаях, в исключительных обстоя-

тельствах, когда эти миры случайно совпадают в своём движении.

— Как узнать, куда направлена Стрела времени? — задумчиво сказал капитан Вегов.— Где наконечник, где оперение этой Стрелы? Где, иначе говоря, будущее, а где прошлое?

«Природа не выделяет ход одного времени по сравнению с другим,— последовал ответ из динамика.— То, что у вас «лево», у нас — «право». И наоборот. Между прошлым и будущим не больше различия, чем между левым и правым».

— Значит, основные законы природы у нас одинаковы,— сделал вывод астрофизик с «Альфы» — Мышук-младший.— Однако наши галактики разлетаются от Земли, а чёрная дыра стягивает материю.

«Это и есть главное отличие вашего будущего от нашего,— сообщили тахионы.— То, что вы называете умирающей звездой, мы называем рождением нового».

— Куда же девается то, что исчезает? — взволнованно проговорил Мышук-младший.

«Ничто в природе не исчезает. Одно переходит в другое. В разных частях Вселенная то сжимается, то взрывается».

— Понял! — закричал во весь голос учёный. Открытие, к которому он готовился всю жизнь, свершилось! — Вселенная дышит!

Столбы света изогнулись и растворились в темноте.

Вокруг стола вновь были привычные стены.

В тот же миг разъединились и корабли. Пассажиры «Альфы» исчезли из кают-компании «Виктории». Но они были совсем недалеко — за тысячу километров, видели друг друга на экранах.

«Виктория» и «Альфа» скачком вернулись в привычное течение времени. Пути землян и тахионов разошлись.

Каждый из двух миров летел к своему будущему.

Стрелы их времени были нацелены в противоположные стороны.

Кир Булычёв

(Игорь Всеволодович Можейко).

(р. 1934)

КОНСИЛИУМ.

Уже неделю в доме Селезнёвых жил заколдованный директор заповедника сказок Иван Иванович Царевич в шкуре серого козлика.

Жизнь дома была сложной и нервной.

С одной стороны, казалось бы, что такого? Одним животным в доме больше. Уже есть марсианский богомол, котёнок, домработник Гриша... Входит, к примеру, в квартиру гость, слышит — топ-топ по коридору острые копытца. Из дверей выбегает козлик, острые маленькие рожки, бородка ещё не выросла, смотрит на гостя жалобными глазами и молчит.

— Ах,— говорит гость,— новое животное завели? А чем он питается?

— Нет,— начинает Алиса,— он совсем не то, чем кажется...

И замолкает, потому что обещала козлику не раскрывать его ужасной тайны, не рассказывать каждому встречному-поперечному, что злой и неудачливый волшебник Кусандра, стараясь захватить в заповеднике власть, подсунул директору, доктору наук и профессору Царевичу, вместо чая воды из той самой волшебной лужи... Выпьешь её и превратишься в козлика.

Если объяснять это каждому гостю, то гость потребует продолжения истории и, может, даже её счастливого завершения. А сделать это нельзя — ни продолжения, ни счастливого завершения эта история пока не имела. Кусандра успел прыгнуть в машину времени и пропасть в дебрях ле-



гендарной эпохи, которая затерялась где-то между третьим и четвёртым ледниковыми периодами. Он унёс с собой курочку Рябу, мешок с позолоченными яйцами и секрет спасения директора.

Расскажешь об этом гостям, начнутся пустые речи — что бы сделать, как бы придумать... а вот я знаю одного профессора... а вот я слышал, что на Альдебаране это лечат... Но, оказывается, нигде не лечат.

Доказательство тому вчерашний консилиум.

Консилиум означает собрание самых знаменитых врачей, биологов и генных инженеров, которые в кабинете Алисиного отца поставили на середину несчастного директора, глядели на него в микроскопы, телескопы и другие приборы, мерили ему давление, брали анализ крови, а потом каждый показывал, какой он знающий учёный.

— Во-первых,— сказал, опершись о трость, седой, объёмистый, бородатый профессор Володин,— мы ещё не уста-

новили, является ли наш пациент человеком или, простите, только козлом.

— Ой,— возмутилась Алиса, которую допустили на консилиум.— Вы же оскорбляете Ивана Ивановича! Вы думаете, что он не понимает, а он не глупее вас.

— Может быть,— сказал профессор Володин.— И тем не менее научная проверка необходима, не так ли, коллеги?

И его колллеги склонили умные головы, потому что были настоящими учёными и ничего не принимали на веру.

Козлик тоже кивнул головой, потому что даже в таком диком виде он оставался учёным.

— Как же вы это проверите?— спросил отец Алисы Селезнёв, директор космического зоопарка.

— Способ у меня простой,— сказал профессор Володин.— Но он себя оправдывал в прошлом.

Профессор Володин расстегнул свой портфель, достал оттуда капустный лист и показал всем.

— Вы видите обыкновенный лист капусты, который я заимствовал у моей жены Гуленьки специально для этого опыта.

Профессор Тягамото с островов Люкю, расположенных в Бурном океане планеты Флукс, встал со своего кресла, достал лупу и внимательно исследовал лист капусты.

— Подтверждаю,— сказал он,— что перед нами лист растения, которое именуется на Земле капустой.

— Этот лист капусты я намерен предложить нашему пациенту,— сказал профессор Володин.— Капуста, как известно, излюбленная пища всех козликов.

Остальные профессора склонили головы, соглашаясь с профессором Володиным. Они тоже знали, что капуста — излюбленная пища козликов.

— Если перед нами обыкновенный козлик,— сказал профессор Володин,— то он без сомнения тут же начнёт жевать этот лист капусты. Если же перед нами наш уважаемый кол-

лега профессор Царевич, то он найдёт в себе силы отказаться от листа капусты, чтобы мы поверили в то, что он — это он. Согласны ли присутствующие?

Присутствующие переглянулись, почесали бороды и лысины и согласились, что такое испытание внесёт ясность.

Тогда профессор Володин обернулся к козлику, который стоял понурившись посреди кабинета, и спросил его:

— Уважаемый коллега, согласны ли вы с таким испытанием? Вы на нас не обидитесь?

Козлик наклонил голову и сказал коротко:

— Бе.

Профессора улыбнулись. Хоть они и считали себя обязанными провести такой опыт, им было неловко перед Царевичем, с которым они ещё недавно встречались на научных конференциях и которого очень уважали.

Профессор Володин положил листок капусты на пол, и все стали смотреть на козлика.

Козлик поднял голову, обвёл всех профессоров внимательным взглядом, потом поглядел на лист капусты.

Алиса вдруг испугалась. Она-то была уверена, что козлик — это директор заповедника. А вдруг он обидится на профессоров за такое недоверие и съест лист им назло?

Под открытым окном послышался шум и топот — кто-то громадный и тяжёлый шёл по улице. Топот прервался у самого окна.

В комнате стало темнее, потому что в окне появился очень толстый человек в синем костюме и галстуке-бабочке, к которому была пришпилена золотая корона.

— Ничего не понимаю! — воскликнул профессор Володин.— Почему вы заглядываете с улицы прямо на второй этаж?

— Здравствуйте,— сказал толстый человек,— дело в том, что я приехал верхом на драконе.

И тут же рядом с толстым человеком появилась голова дракона, разверзла пасть, усеянную длинными, как карандаши, зубами, и сказала:

— Как дела?

Профессора были так поражены, что не могли поверить собственным глазам.

— Урра! — закричала Алиса. — Это толстый король и Змей Гордыныч к нам приехали!

— Кто они такие? — спросил профессор Тягамото и взял лупу.

— Они из заповедника сказок, — сказала Алиса. — Разве непонятно? Где ещё могут у нас жить драконы и короли? Дракон — мой друг, а король исполняет обязанности директора, пока мы не расколдуем Ивана Ивановича.

— Совершенно верно, — сказал король. — К вашим услугам.

Тут он заметил козлика, который радостно заблеял при виде старых знакомых, и поклонился ему:

— Как ваше самочувствие, Иван Иванович?

— Простите, — сказал тогда седой профессор Кармайкл из Оксфорда. — Это ни на что не похоже! У меня создаётся впечатление, что здесь хотят повлиять на наше научное мнение. Надеюсь, что мы и без помощи драконов выясним, козлик стоит перед нами или директор.

— Нам нельзя мешать, — сказал профессор Володин. — У нас консилиум.

— Я считаю, что драконам здесь делать совершенно нечего, — сказал профессор Тягамото. — У вас есть вопросы к нашему пациенту?

— Мы подождём, — сказал толстый король, — вы не беспокойтесь. Мы тут в тенёчке отдохнём, пока вы беседуете. Тысяча извинений.

Король верхом на драконе отъехал от окна. Дракон остановился на другой стороне улицы под тенью большого

дуба и принялся щипать одуванчики. Профессора покачали головами и вернулись к своим делам.

— Ну и каково будет ваше решение, коллега? — обратился профессор Володин к козлику.

Козлик посмотрел на него, подмигнул и подобрал с пола лист капусты. Он хрупал листом капусты, смаковал его, пережёвывал, заглатывал, а профессора смотрели на него в полном изумлении. Они ждали чего угодно, только не этого.

Козлик доел лист капусты и снова поглядел на профессоров. Профессора опустили глаза.

— Неужели вы не понимаете, — воскликнула Алиса, — что Иван Иванович съел этот листок, потому что обиделся на вас?! Неужели это непонятно?

— С одной стороны, — сказал профессор Тягамото, — мы понимаем чувства Ивана Ивановича. Но с другой — опыт есть опыт. И если судить по опыту, получается, что перед нами самый обыкновенный козлик.

— Да, Иван Иванович, — сказал профессор Володин, который был очень расстроен. — Вы нас подвели. Вы нас, можно сказать, поставили в тупик.

— Бэээээ, — сказал козлик, как будто засмеялся.

И никто из ученых не догадался, что Иван Иванович съел этот лист капусты просто потому, что ему захотелось капусты. Какой бы ты ни был профессор и директор, но если ты в козлиной шкуре, то любишь капусту. Вот поэтому Иван Иванович и съел этот злополучный листок.

— Что ж, — сказал, наконец, самый старый и самый мудрый профессор Кармайкл-младший. — Мы должны оценить чувство юмора нашего коллеги козлика Ивана Ивановича и попросить у него прощения.

Он строго посмотрел на профессора Володина, и все профессора строго посмотрели на профессора Володина, а профессор Володин смутился, достал из портфеля второй лист

капусты и протянул козлику. Козлик кивнул головой, поблагодарил и съел лист.

— Теперь, когда нам ясно, что перед нами всё же наш коллега, а не просто козлик,— сказал профессор Тягамото,— мы можем обсудить, как его вылечить.

Профессора спорили целый час. Козлик устал и лёг спать. Они так и не достигли согласия. А их предложения были такими.

Первое предложение. Сделать козлику искусственное горло, чтобы он мог говорить. А ещё лучше — руки, чтобы мог писать свои научные труды.

Второе предложение. Заморозить козлика на то время, пока наука не научится превращать козликов в людей.

Третье предложение. Сделать искусственного человека, как две капли воды похожего на Ивана Ивановича, и посадить в него козлика, как в одежду. И все будут думать, что это Иван Иванович.

И ещё двадцать три подобных предложения.

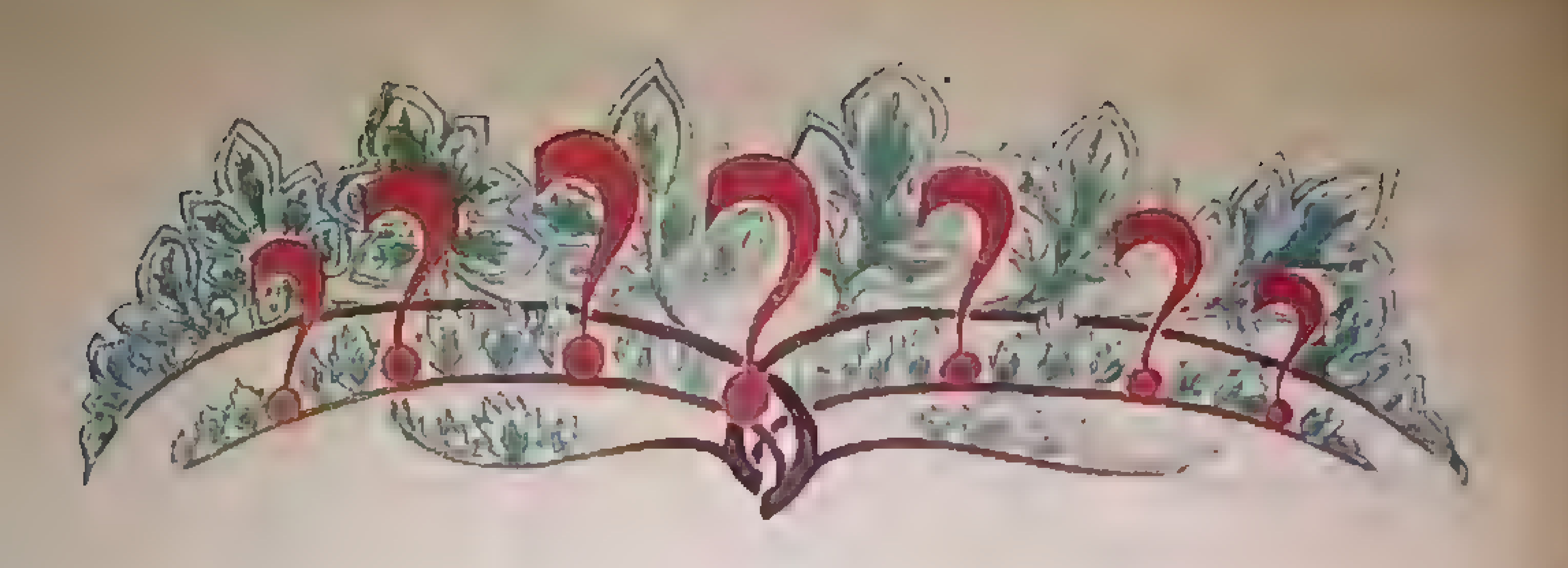
А самое последнее предложение, когда все профессора уже охрипли, сделала Алиса:

— Надо,— сказала она,— расколдовать козлика.

Разумеется, профессора зашикали на девочку, рассердились и попросили её выйти из комнаты. Ни один из профессоров не верил в сказки и колдовство.

И правильно делали. Если бы они верили, то не были бы профессорами, а наука зашла бы в тупик.

Из повести «Козлик Иван Иванович».



Вопросы и задания.

1. Знаешь ли ты, что слово *фантастика* произошло от слова *фантазия?* Слово *фантазия* греческое по происхождению и обозначает *воображение.*

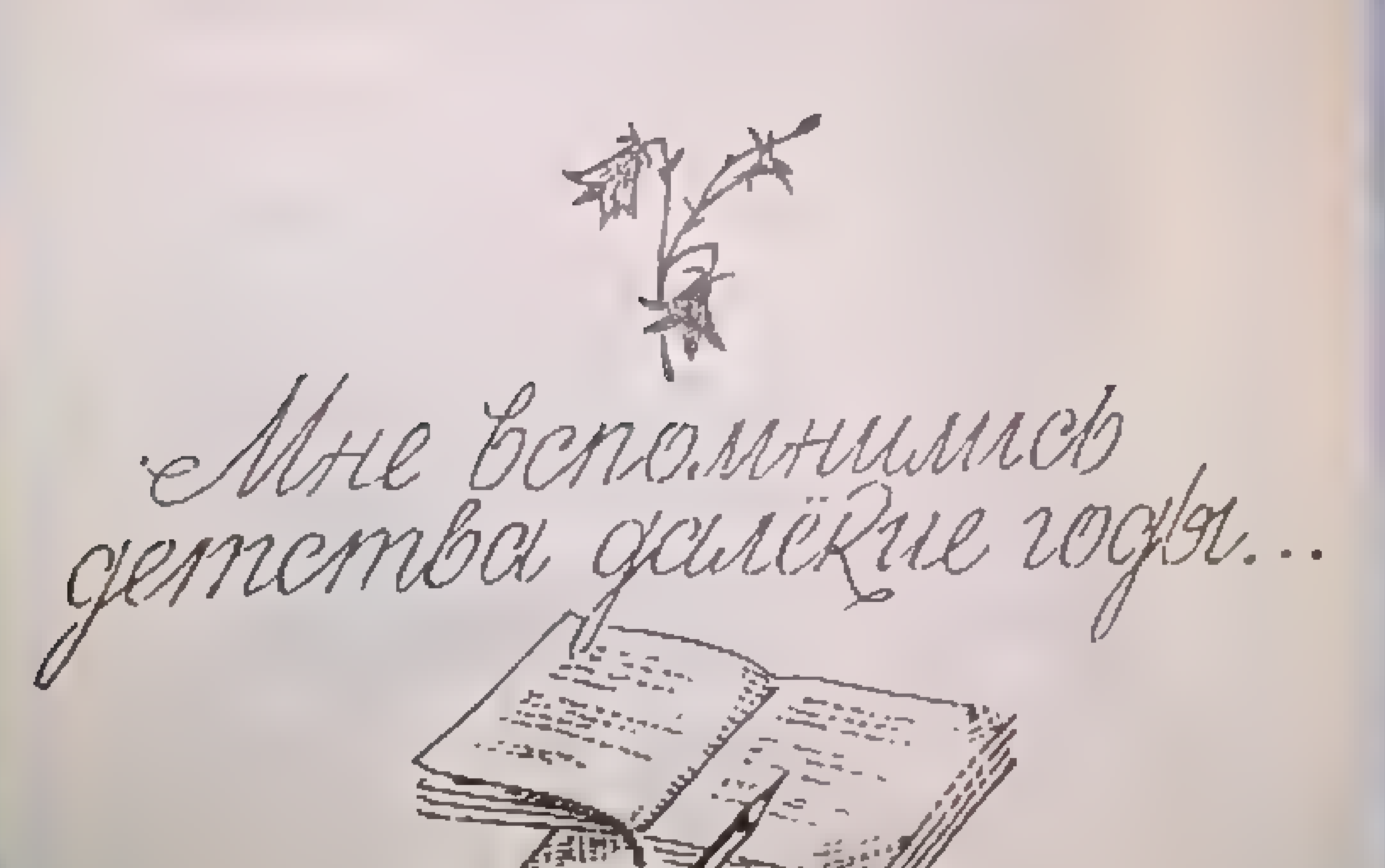
2. Как ты думаешь, какие цели ставит перед собой писатель-фантаст, что для него главное? Он хочет *удивить* нас необыкновенными историями, созданными в его воображении, *нарисовав* чудесный (или, наоборот, ужасный) *мир нашего будущего,* или *показать, чего могут достичь люди,* используя новейшие открытия, или для него *важен человек,* его характер и поступки? Выскажи своё мнение.

3. Чем тебе понравилась глава из повести Е. С. Велтистова «Миллион и один день каникул»? Почему земляне никогда не встречаются с тахионами? Куда направлена Стрела времени на Земле?

4. Какую сказку напомнило тебе начало повести К. Булычёва «Козлик Иван Иванович»? Попробуй представить, что происходило *до* консилиума. Запиши в тетрадь по чтению небольшой рассказ.

5. Читал ли ты другие повести К. Булычёва об Алисе? Что ты можешь сказать о характере этой девочки? Как он проявился в прочитанном тобой эпизоде?

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ





Брюсов Валерий Яковлевич
(1873-1924)



ОПЯТЬ СОН.

Мне опять приснились дебри,
Глушь пустынь, заката тишь.
Жёлтый лев крадётся к зебре
Через травы и камыш.

Предо мной стволы упрямо
В небо ветви вознесли.
Слышу шаг гиппопотама,
Заросль мнущего вдали.

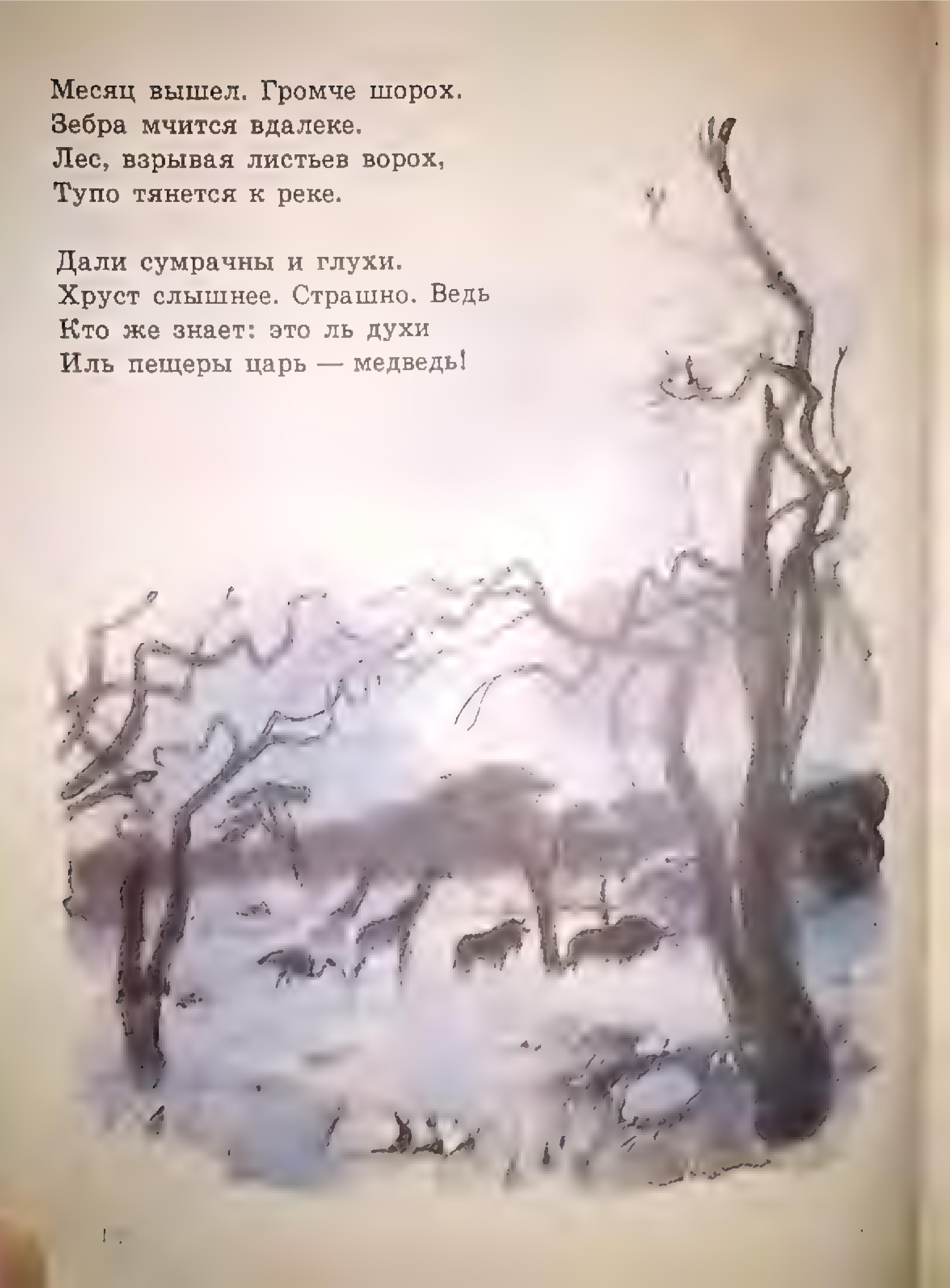
На утёсе безопасен,
Весь я — зренье, весь я — слух.
Но виденья старых басен
Возмущают слабый дух.

Крылья огненного змея
Не затмят ли вдруг закат?
Не взлетит ли, искры сея,
Он над нами, смерти рад?

Из камней не выйдет вдруг ли
Племя карликов ко мне?
Обращая ветки в угли,
Лес не встанет ли в огне?

Месяц вышел. Громче шорох.
Зебра мчится вдалеке.
Лес, взрывая листьев ворох,
Тупо тянется к реке.

Дали сумрачны и глухи.
Хруст слышнее. Страшно. Ведь
Кто же знает: это ль духи
Иль пещеры царь — медведь!



ДЕТСКАЯ.

Палочка-выручалочка,
Вечерняя игра!
Небо тени свесило,
Расшумимся весело,
Бегать нам пора!

Раз, два, три, четыре, пять,
Бегом тени не догнать.
Слово скажешь, в траву ляжешь,
Чёрной цепи не развяжешь.
Снизу яма, сверху высь,
Между них вертись, вертись.

Что под нами, под цветами,
За железными столбами?
Кто на троне? Кто в короне?
Ветер высью листья гонит
И уронит с высоты...
Я ли первый или ты?

Палочка-выручалочка,
То-то ты хитра!
Небо тени свесило,
Постучи-ка весело
Посреди двора.

Есенин
Сергей Александрович
(1895-1925)





БАБУШКИНЫ СКАЗКИ.

В зимний вечер по задворкам
Разухабистой гурьбой
По сугробам, по пригоркам
Мы идём, бредём домой.
Опостылеют салазки,
И садимся в два рядка
Слушать бабушкины сказки
Про Ивана-дурака.
И сидим мы, еле дышим.
Время к полночи идёт.
Притворимся, что не слышим,
Если мама спать зовёт.
Сказки все. Пора в постели...
Но а как теперь уж спать?
И опять мы загалдели,
Начинаем приставать.
Скажет бабушка несмело:
«Что ж, сидеть-то до зари?»
Ну, а нам какое дело,—
Говори да говори.

Гумилёв
Николай Степанович
(1886-1921)



ДЕТСТВО.

Я ребёнком любил большие,
Мёдом пахнущие луга,
Перелески, травы сухие
И меж трав бычачьи рога.

Каждый пыльный куст придорожный
Мне кричал: «Я шучу с тобой,
Обойди меня осторожно
И узнаешь, кто я такой!»



6 Зак. 3850 Голованова, кн. 3, ч. 2

Только дикий ветер осенний,
Прошумев, прекращал игру.
Сердце билось ещё блаженней,
И я верил, что я умру.

Не один — с моими друзьями,
С мать-и-мачехой, с лопухом,
И за дальними небесами
Догадаюсь вдруг обо всём.

Я за то и люблю затеи
Грозовых военных забав,
Что людская кровь не святее
Изумрудного сока трав.



Цветаева
Марина Ивановна
(1892-1941)



* * *

Бежит тропинка с бугорка,
Как бы под детскими ногами,
Всё так же сонными лугами
Лениво движется Ока;

Колокола звонят в тени,
Спешат удары за ударом,
И всё поют о добром, старом,
О детском времени они.

О, дни, где утро было рай,
И полдень рай, и все закаты!
Где были шпагами лопаты
И замком царственным сарай.

Куда ушли, в какую даль вы?
Что между нами пролегло?
Всё так же сонно-тяжело
Качаются на клумбах мальвы...

* * *

Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась.

Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов[1].

Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.

Из цикла «Стихи о Москве».

---

[1] **Иоанн Богослов.** — Марина Цветаева родилась 9 октября, в день памяти святого Иоанна Богослова.

ЗА КНИГАМИ.

«Мама, милая, не мучь же!
Мы поедем или нет?»
Я большая,— мне семь лет,
Я упряма,— это лучше.

Удивительно упряма:
Скажут нет, а будет да.
Не поддамся никогда,
Это ясно знает мама.

«Поиграй, возьмись за дело,
Домик строй».— «А где картон?»
«Что за тон?» — «Совсем не тон!
Просто жить мне надоело!

Надоело... жить... на свете,
Все большие — палачи,
Дáвид Коперфильд...» — «Молчи!
Няня, шубу! Что за дети!»

Прямо в рот летят снежинки...
Огонёчки фонарей...
«Ну, извозчик, поскорей!
Будут, мамочка, картинки?»

Сколько книг! Какая давка!
Сколько книг! Я всё прочту!
В сердце радость, а во рту
Вкус солёного прилавка.

Твардовский Александр Трифонович
(1910-1971)



ДВЕ КУЗНИЦЫ.

На хуторском глухом подворье,
В тени обкуренных берёз,
Стояла кузница в Загорье,
И я при ней с рожденья рос.

И отсвет жара горнового
Под закопчённым потолком,
И свежесть пола земляного,
И запах дыма с дегтьком —
Привычны мне с тех пор, пожалуй,
Как там, взойдя к отцу в обед,
Мать на руках меня держала,
Когда ей было двадцать лет...

Я помню нашей наковальни
В лесной тиши сиротский звон,
Такой усталый и печальный
По вечерам, как будто он
Вещал вокруг о жизни трудной,
О скудном выручкою дне
В той небогатой, малолюдной,
Негромкой нашей стороне.



Где меж болот, кустов и леса
Терялись бойкие пути;
Где мог бы всё своё железо
Мужик под мышкой унести;
Где был заказчик — гость случайный,
Что к кузнецу раз в десять лет
Ходил, как к доктору, от крайней
Нужды, когда уж мочи нет.

И этот голос наковальни,
Да скрип мехов, да шум огня
С далёкой той поры начальной
В ушах не молкнет у меня.
Не молкнет память жизни бедной,
Обидной, горькой и глухой,
Пускай исчезнувшей бесследно,
С отцом ушедшей на покой.

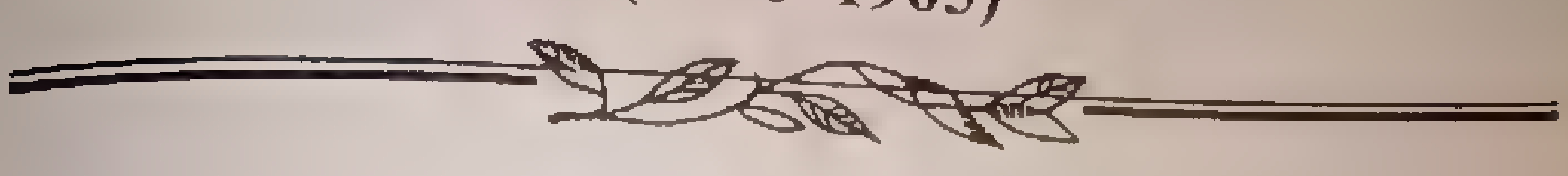
И пусть она не повторится,
Но я с неё свой начал путь,
Я и добром, как говорится,
Её обязан помянуть.

За все ребячьи впечатленья,
Что в зрелый век с собой принёс;
За эту кузницу под тенью
Дымком обкуренных берёз.

На малой той частице света
Была она для всех вокруг
Тогдашним клубом, и газетой,
И академией наук.

Из поэмы «За далью — даль».

Тушнова Вероника Михайловна
(1915-1965)



СТИХИ О ДОЧЕРИ.

Наташе.

...Есть девочка. Зелёные глаза,
лукавый рот и бантик цвета мака.
Есть девочка. При ней нельзя заплакать,
при ней нельзя о горьком рассказать.

Она поймёт. С недетской теплотой
ладошки мягкие ко мне на плечи лягут...
Нельзя при ней, при маленькой такой,—
ей рано знать печаль житейских тягот.

Я напишу ей буквы на листе
и нарисую зайчика в тетради.
Я засмеюсь — её улыбки ради.
Я буду плакать после, в темноте...

А круг всё ширится. В него вовлечены
природа, люди, города и войны.
Теперь ей книжки пёстрые нужны.
Упав, она не говорит, что больно.

Не любит слово скучное «нельзя»,
всё льнёт ко мне, работать мне мешая.

Как выросла! Совсем, совсем большая,—
мы с ней теперь хорошие друзья.

Она со мною слушает салюты,
передвигает красные флажки
и, Прут найдя на карте в полминуты,
обводит пальцем ниточку реки.

Понятлива, пытлива и упряма.
На многое ответы ей нужны.
Она меня спросила как-то: «Мама,
а было так, что не было войны?»

Да. Было так. И будет, будет снова.
Как хорошо тогда нам станет жить!
Ты первое услышанное слово
ещё успеешь в жизни позабыть.

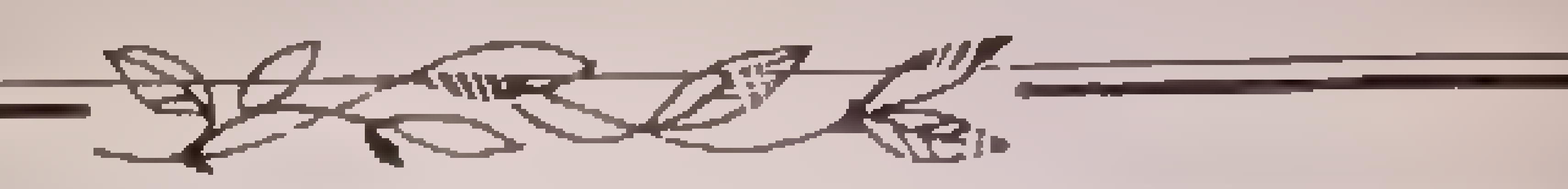
СИНИЦЫ.

Я с детства зверей любила,
котов за хвост не таскала,
а если синиц ловила,
так вскорости отпускала.
Тоскливо мне видеть было,
как птицы о прутья бьются,
как шариками унылыми
дремлют, чтоб не проснуться.
А за окном вьюжи́ло,
в сени снег задувало,
клетку я выносила,
дверку приоткрывала,
и ждала с нетерпеньем,
и прыгала, и смеялась,
как будто бы в то мгновенье
в синицу переселялась.
Как будто с ней в путь
отправилась...

И ещё одно допускаю:
мне моё всемогущество нравилось,—
вот поймала
и отпускаю!
Может, долго не поняла бы
я без этих пичужек славных,—
отпускать —
это счастье сильных,
взаперти держать —
мука слабых.

Рубцов Николай Михайлович

(1936-1971)



ХЛЕБ.

Положил в котомку
                    сыр, печенье.
Положил для роскоши миндаль.
Хлеб не взял.
— Ведь это же мученье
Волочиться с ним в такую даль! —
Всё же бабка
                    сунула краюху!
Всё на свете зная наперёд,
Так сказала:
— Слушайся старуху!
Хлеб, родимый, сам себя несёт...



Зарубежная литература



Джонатан Свифт.
[1667—1745]

[illegible]

(Отрывок.)

Когда Гулливер проснулся, было уже совсем светло. Он лежал на спине, и солнце светило ему в лицо.

Он хотел было протереть глаза, но не мог поднять руку; хотел сесть, но не мог пошевелиться.

Тонкие верёвочки опутывали всё его тело от подмышек до колен; руки и ноги были крепко стянуты верёвочной сеткой; верёвочки обвивали каждый палец. Даже длинные густые волосы Гулливера были туго намотаны на маленькие колышки, вбитые в землю, и переплетены верёвочками.

Гулливер был похож на рыбу, которую поймали в сеть.

«Верно, я ещё сплю»,— подумал он.

Вдруг что-то живое быстро вскарабкалось к нему на ногу, добралось до груди и остановилось у подбородка.

Гулливер скосил один глаз.

Что за чудо! Чуть ли не под носом у него стоит человечек — крошечный, но самый настоящий человечек! В руках у

него — лук и стрела, за спиной — колчан. А сам он всего в три пальца ростом.

Вслед за первым человечком на Гулливера взобралось ещё десятка четыре таких же маленьких стрелков.

От удивления Гулливер громко вскрикнул.

Человечки заметались и бросились врассыпную.

На бегу они спотыкались и падали, потом вскакивали и один за другим прыгали на землю.

Минуты две-три никто больше не подходил к Гулливеру. Только под ухом у него всё время раздавался шум, похожий на стрекотание кузнечиков.

Но скоро человечки опять расхрабрились и снова стали карабкаться вверх по его ногам, рукам и плечам, а самый смелый из них подкрался к лицу Гулливера, потрогал копьём его подбородок и тоненьким, но отчётливым голосом прокричал:

— Гекина дегуль!

— Гекина дегуль! Гекина дегуль!— подхватили тоненькие голоса со всех сторон.

Но что значили эти слова, Гулливер не понял, хотя и знал много иностранных языков.

Долго лежал Гулливер на спине. Руки и ноги у него совсем затекли.

Он собрал силы и попытался оторвать от земли левую руку.

Наконец это ему удалось.

Он выдернул колышки, вокруг которых были обмотаны сотни тонких, крепких верёвочек, и поднял руку.

В ту же минуту кто-то внизу громко пропищал:

— Тольго фонак!

В руку, в лицо, в шею Гулливера разом вонзились сотни стрел. Стрелы у человечков были тоненькие и острые, как иголки.

Гулливер закрыл глаза и решил лежать не двигаясь, пока не наступит ночь.



«В темноте будет легче освободиться»,— думал он.

Но дождаться ночи на лужайке ему не пришлось.

Недалеко от его правого уха послышался частый, дробный стук, будто кто-то рядом вколачивал в доску гвоздики.

Молоточки стучали целый час.

Гулливер слегка повернул голову — повернуть её больше не давали верёвочки и колышки — и возле самой своей головы увидел только что построенный деревянный помост. Несколько человечков прилаживали к нему лестницу.

Потом они убежали, и по ступенькам медленно поднялся на помост человечек в длинном плаще.

За ним шёл другой, чуть ли не вдвое меньше ростом, и нёс край его плаща. Наверно, это был мальчик-паж. Он был не больше Гулливерова мизинца.

Последними взошли на помост два стрелка с натянутыми луками в руках.

— Лангро дегюль сан!— три раза прокричал человечек в плаще и развернул свиток длиной и шириной с берёзовый листок.

Сейчас же к Гулливеру подбежали пятьдесят человечков и обрезали верёвки, привязанные к его волосам.

Гулливер повернул голову и стал слушать, что читает человечек в плаще. Человечек читал и говорил долго-долго. Гулливер ничего не понял, но на всякий случай кивнул головой и приложил к сердцу свободную руку.

Он догадался, что перед ним какая-то важная особа, по всей видимости, королевский посол.

Прежде всего Гулливер решил попросить у посла, чтобы его накормили.

С тех пор как он покинул корабль, во рту у него не было ни крошки. Он поднял палец и несколько раз поднёс его к губам.

Должно быть, человечек в плаще понял этот знак. Он со-

шёл с помоста, и тотчас же к бокам Гулливера приставили несколько длинных лестниц.

Не прошло и четверти часа, как сотни сгорбленных носильщиков потащили по этим лестницам корзины с едой.

В корзинах были тысячи хлебов величиной с горошину, целые окорока — с грецкий орех, жареные цыплята — меньше нашей мухи.

Гулливер проглотил разом два окорока вместе с тремя хлебцами. Он съел пять жареных быков, восемь вяленых баранов, девятнадцать копчёных поросят и сотни две цыплят и гусей.

Скоро корзины опустели.

Тогда человечки подкатили к руке Гулливера две бочки с вином. Бочки были огромные — каждая со стакан.

Гулливер вышиб дно из одной бочки, вышиб из другой и в несколько глотков осушил обе бочки.

Человечки всплеснули руками от удивления. Потом они знаками попросили его сбросить на землю пустые бочки.

Гулливер подбросил обе разом. Бочки перекувырнулись в воздухе и с треском покатились в разные стороны.

Толпа на лужайке расступилась, громко крича:

— Бора мевола! Бора мевола!

После вина Гулливеру сразу захотелось спать. Сквозь сон он почувствовал, как человечки бегают по всему его телу вдоль и поперёк, скатываются с боков, точно с горы, щекочут его палками и копьями, прыгают с пальца на палец.

Ему очень хотелось сбросить с себя десяток-другой этих маленьких прыгунов, мешавших ему спать, но он пожалел их. Как-никак, а человечки только что гостеприимно накормили его вкусным, сытным обедом, и было бы неблагородно переломать им за это руки и ноги. К тому же Гулливер не мог не удивляться необыкновенной храбрости этих крошечных людей, бегавших взад и вперёд по груди великана, которому бы ничего не стоило уничтожить их всех одним щелчком.

Он решил не обращать на них внимания и, одурманенный крепким вином, скоро заснул.

Человечки этого только и ждали. Они нарочно подсыпали в бочки с вином сонного порошка, чтобы усыпить своего огромного гостя.

Эрих Распе.
(1737—1794)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХАУЗЕНА.

Сырный остров.

Не моя вина, если со мною случаются такие диковины, которых ещё не случалось ни с кем.

Это потому, что я люблю путешествовать и вечно ищу приключений, а вы сидите дома и ничего не видите, кроме четырёх стен своей комнаты.

Однажды, например, я отправился в дальнее плавание на большом голландском корабле. Вдруг в открытом океане на нас налетел ураган, который в одно мгновение сорвал у нас все паруса и поломал все мачты.

Одна мачта упала на компас и разбила его вдребезги.

Всем известно, как трудно управлять кораблём без компаса. Мы сбились с пути и не знали, куда мы плывём.

Три месяца нас бросало по волнам океана из стороны в сторону, а потом унесло неизвестно куда, и вот в одно прекрасное утро мы заметили необыкновенную перемену во всём. Море из зелёного сделалось белым. Ветерок доносил какой-то нежный, ласкающий запах. Нам стало очень приятно и весело.



Вскоре мы увидели пристань и через час вошли в просторную глубокую гавань. Вместо воды в ней было молоко!

Мы поспешили высадиться на берег и стали жадно пить из молочного моря.

Между нами был один матрос, который не выносил запаха сыра. Когда ему показывали сыр, его начинало тошнить. И вот едва мы высадились на берег, как ему сделалось дурно.

— Уберите у меня из-под ног этот сыр! — закричал он. Я не хочу, я не могу ходить по сыру!

Я нагнулся к земле и всё понял.

Остров, к которому пристал наш корабль, был сделан из отличного голландского сыра!

Да, да, не смейтесь, я рассказываю вам истинную правду вместо глины у нас под ногами был сыр.

Мудрено ли, что жители этого острова питались почти исключительно сыром! Но сыру этого не становилось меньше

так как за ночь его вырастало ровно столько, сколько было съедено в течение дня.

Весь остров был покрыт виноградниками, но виноград там особенный: сожмёшь его в кулаке — из него вместо сока течёт молоко.

Жители острова — высокие, красивые люди. У каждого из них по три ноги. Благодаря трём ногам они свободно могут держаться на поверхности молочного моря.

Хлеб здесь растёт печёный, прямо в готовом виде, так что жителям этого острова не приходится ни сеять, ни пахать. Я видел много деревьев, увешанных сладкими медовыми пряниками.

Во время наших прогулок по Сырному острову мы открыли семь рек, текущих молоком, и две реки, текущие густым и вкусным пивом.

Признаюсь, эти пивные реки понравились мне больше молочных.

Вообще, гуляя по острову, мы видели много чудес.

Особенно поразили нас птичьи гнёзда. Они были невероятно огромны. Одно орлиное гнездо, например, было выше самого высокого дома. Оно было всё сплетено из исполинских дубовых стволов. В нём мы нашли пять сотен яиц, каждое яйцо величиною с хорошую бочку.

Мы разбили одно яйцо, и из него вылез птенец, раз в двадцать больше взрослого орла.

Птенец запищал. К нему на помощь прилетела орлица. Она схватила нашего капитана, подняла его до ближайшего облака и оттуда швырнула в море.

К счастью, он был отличный пловец и через несколько часов добрался до Сырного острова вплавь.

Вернувшись на корабль, мы тотчас же подняли якорь и отплыли от чудесного острова.

Все деревья, что росли на берегу, словно по какому-то знаку, дважды поклонились нам в пояс и снова выпрямились

как ни в чём не бывало. Растроганный их необыкновенной любезностью, я снял шляпу и послал им прощальный привет.

Удивительно вежливые деревья, не правда ли?

Конь на крыше.

Я выехал в Россию верхом на коне.

Дело было зимою. Шёл снег.

Конь устал и начал спотыкаться. Мне сильно хотелось спать. Я чуть не падал с седла от усталости. Но напрасно искал я ночлега: в пути не попалось мне ни одной деревушки.

Что было делать?

Пришлось ночевать в открытом поле.

Кругом ни куста, ни дерева. Только маленький столбик торчал из-под снега.

К этому столбику я кое-как привязал своего озябшего коня, а сам улёгся тут же на снегу и заснул.

Спал я долго, а когда проснулся, я увидел, что лежу не в поле, а в деревне, или, вернее, в небольшом городке: со всех сторон меня окружают дома.

Что такое? Куда я попал? Как могли эти дома вырасти здесь в одну ночь?

И куда девался мой конь?

Долго я не понимал, что случилось. Вдруг слышу знакомое ржание. Это ржёт мой конь.

Но где же он?

Ржание доносится откуда-то сверху.

Я поднимаю голову — и что же?

Мой конь висит на крыше колокольни! Он привязан к самому кресту!

В одну минуту я понял в чём дело.

Вчера вечером весь этот городок, со всеми людьми и домами, был занесён глубоким снегом, и наружу торчала только верхушка креста.



Я не знал, что это крест, мне показалось, что это — маленький столбик, и я привязал к нему моего усталого коня! А ночью, пока я спал, началась сильная оттепель, снег растаял; и я незаметно опустился на землю.

Но бедный мой конь так и остался там, наверху, на крыше. Привязанный к кресту колокольни, он не мог спуститься на землю.

Что делать?

Не долго думая, хватаю пистолет, метко прицеливаюсь и попадаю прямо в уздечку, потому что я всегда был отличным стрелком.

Уздечка — пополам.

Конь быстро спускается ко мне.

Я вскакиваю на него и, как ветер, скачу вперёд.

Ганс Христиан Андерсен.
(1805—1875)

РУСАЛОЧКА.

(В сокращении.)

Далеко в море вода синяя-синяя, как лепестки самых красивых васильков, и прозрачная-прозрачная, как самое чистое стекло, только очень глубока, так глубока, что никакого якорного каната не хватит. Много колоколен надо поставить одну на другую, тогда только верхняя выглянет на поверхность. Там на дне живёт подводный народ. Только не подумайте, что дно голое, один только белый песок. Нет, там растут невиданные деревья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, словно живые, от малейшего движения воды. А между ветвями снуют рыбы, большие и маленькие, совсем как птицы в воздухе у нас наверху. В са-

мом глубоком месте стоит дворец морского царя — стены его из кораллов, высокие стрельчатые окна из самого чистого янтаря, а крыша сплошь раковины; они то открываются, то закрываются, смотря по тому, прилив или отлив, и это очень красиво, ведь в каждой лежат сияющие жемчужины и любая была бы великим украшением в короне само́й королевы.

Царь морской давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла старуха мать, женщина умная, только больно уж гордившаяся своей родовитостью: на хвосте она носила целых двенадцать устриц, тогда как прочим вельможам полагалось только шесть. В остальном же она заслуживала всяческой похвалы, особенно потому, что души не чаяла в своих маленьких внучках — принцессах. Их было шестеро, все прехорошенькие, но милее всех самая младшая, с кожей чистой и нежной, как лепесток розы, с глазами синими и глубокими, как море. Только у неё, как, впрочем, и у остальных, ног не было, а вместо них был хвост, как у рыб...

— Когда вам исполнится пятнадцать лет,— говорила бабушка,— вам дозволят всплывать на поверхность, сидеть в лунном свете на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города!..

Ни одну из сестёр так не тянуло на поверхность, как самую младшую, тихую, задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех. Ночь за ночью проводила она у открытого окна и всё смотрела наверх сквозь тёмно-синюю воду, в которой плескали хвостами и плавниками рыбы. Месяц и звёзды виделись ей, и хоть светили они совсем бледно, зато казались сквозь воду много больше, чем нам. А если под ними скользило как бы тёмное облако, знала она, что это либо кит проплывёт, либо корабль, а на нём много людей, и, конечно, им и в голову не приходило, что внизу под ними хорошенькая русалочка тянется к кораблю своими белыми руками...

Наконец и русалочке исполнилось пятнадцать лет.

— Ну вот, вырастили и тебя!— сказала бабушка, вдовст-

вующая королева.— Поди-ка сюда, я украшу тебя, как остальных сестёр!

И она надела русалочке на голову венок из белых лилий, только каждый лепесток был половинкой жемчужины, а потом нацепила ей на хвост восемь устриц в знак её высокого сана.

— Да это больно! — сказала русалочка.

— Чтоб быть красивой, можно и потерпеть! — сказала бабушка.

Ах, как охотно скинула бы русалочка всё это великолепие и тяжёлый венок! Красные цветы с её грядки пошли бы ей куда больше, но ничего не поделаешь.

— Прощайте! — сказала она и легко и плавно, словно пузырёк воздуха, поднялась на поверхность.

Когда она подняла голову над водой, солнце только что село, но облака ещё отсвечивали розовым и золотым, а в бледно-красном небе уже зажглись ясные вечерние звёзды; воздух был мягкий и свежий, море спокойно. Неподалёку стоял трёхмачтовый корабль всего лишь с одним поднятым парусом — не было ни малейшего ветерка. Повсюду на снастях и реях сидели матросы. С палубы раздавались музыка и пение, а когда совсем стемнело, корабль осветился сотнями разноцветных фонариков и в воздухе словно бы замелькали флаги всех наций. Русалочка подплыла прямо к окну каюты, и всякий раз, как её приподымало волной, она могла заглянуть внутрь сквозь прозрачные стёкла. Там было множество нарядно одетых людей, но красивее всех был молодой принц с большими чёрными глазами. Ему, наверное, было не больше шестнадцати лет. Праздновался его день рождения, оттого-то на корабле и шло такое веселье. Матросы плясали на палубе, а когда вышел туда молодой принц, в небо взмыли сотни ракет, и стало светло, как днём, так что русалочка совсем перепугалась и нырнула в воду, но тут же опять высунула голову, и казалось, будто все звёзды с неба падают к ней в

море. Никогда ещё не видала она такого фейерверка. Вертелись колесом огромные солнца, взлетали в синюю высь чудесные огненные рыбы, и всё это отражалось в тихой, ясной воде. На самом корабле было так светло, что можно было различить каждый канат, а людей и подавно. Ах, как хорош был молодой принц! Он пожимал всем руки, улыбался и смеялся, а музыка всё гремела и гремела в чудной ночи.

Уже поздно было, а русалочка всё не могла глаз оторвать от корабля и от прекрасного принца. Погасли разноцветные фонарики, не взлетали больше ракеты, не гремели пушки, зато загудело и заворчало в глуби морской. Русалочка качалась на волнах и всё заглядывала в каюту, а корабль стал набирать ход, один за другим распускались паруса, всё выше вздымались волны, собирались тучи, вдали засверкали молнии.

Надвигалась буря, матросы принялись убирать паруса. Корабль, раскачиваясь, летел по разбушевавшемуся морю, волны вздымались огромными чёрными горами, норовя перекатиться через мачту, а корабль нырял, словно лебедь, между высоченными валами и вновь возносился на гребень громоздящейся волны. Русалочке всё это казалось приятной прогулкой, но не матросам. Корабль стонал и трещал; вот подалась под ударами волн толстая обшивка бортов, волны захлестнули корабль, переломилась пополам, как тростинка, мачта, корабль лёг на бок, и вода хлынула в трюм. Тут уж русалочка поняла, какая опасность угрожает людям,— ей и самой приходилось увёртываться от брёвен и обломков, носившихся по волнам. На минуту стало темно, хоть глаз выколи, но вот блеснула молния, и русалочка опять увидела людей на корабле. Каждый спасался, как мог. Она искала глазами принца и увидела, как он упал в воду, когда корабль развалился на части. Сперва она очень обрадовалась — ведь он попадёт теперь к ней на дно, но приплывёт во дворец её отца только мёртвым. Нет, нет, он не должен умереть! И она поплыла



между брёвнами и досками, совсем не думая о том, что они могут её раздавить. Она то ныряла глубоко, то взлетала на волну и наконец доплыла до юного принца. Он почти уже совсем выбился из сил и плыть по бурному морю не мог. Руки и ноги отказывались ему служить, прекрасные глаза закрылись, и он утонул бы, не явись ему на помощь русалочка. Она приподняла над водой его голову и предоставила волнам нести их обоих куда угодно...

К утру буря стихла. От корабля не осталось и щепки. Опять засверкало над водой солнце и как будто вернуло краски щекам принца, но глаза его всё ещё были закрыты.

Русалочка откинула со лба принца волосы, поцеловала его в высокий красивый лоб, и ей показалось, что он похож на мраморного мальчика, который стоит у неё в саду. Она поцеловала его ещё раз и пожелала, чтобы он остался жив.

Наконец она завидела сушу, высокие синие горы, на вершинах которых, точно стаи лебедей, белели снега. У самого

берега зеленели чудесные леса, а перед ними стояла не то церковь, не то монастырь — она не могла сказать точно, знала только, что это было здание. В саду росли апельсинные и лимонные деревья, а у самых ворот высокие пальмы. Море вдавалось здесь в берег небольшим заливом, тихим, но очень глубоким, с утёсом, у которого море намыло мелкий белый песок. Сюда-то и приплыла русалочка с принцем и положила его на песок так, чтобы голова его была повыше на солнце.

Тут в высоком белом здании зазвонили колокола, и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше за высокие камни, торчавшие из воды, покрыла свои волосы и грудь морскою пеной, так что теперь никто не различил бы её лица, и стала ждать, не придёт ли кто на помощь бедному принцу.

Вскоре к утёсу подошла молодая девушка и поначалу очень испугалась, но тут же собралась с духом и позвала других людей, и русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто был возле него. А ей он не улыбнулся, он даже не знал, что она спасла ему жизнь. Грустно стало русалочке, и, когда принца увели в большое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой.

Теперь она стала ещё тише, ещё задумчивее, чем прежде. Сёстры спрашивали её, что она видела в первый раз на поверхности моря, но она ничего им не рассказала.

Часто по утрам и вечерам приплывала она к тому месту, где оставила принца. Она видела, как созревали в саду плоды, как их потом собирали, видела, как стаял снег на высоких горах, но принца так больше и не видала и возвращалась домой каждый раз всё печальнее. Единственной отрадой было для неё сидеть в своём садике, обвив руками красивую мраморную статую, похожую на принца, но за своими цветами она больше не ухаживала. Они одичали и разрослись по дорожкам, переплелись стеблями и листьями с ветками деревьев, и в садике стало совсем темно.

Наконец она не выдержала и рассказала обо всём одной из сестёр. За ней узнали и остальные сёстры, но больше никто, разве что ещё две-три русалки да их самые близкие подруги. Одна из них тоже знала о принце, видела празднество на корабле и знала, откуда принц родом и где его королевство.

— Поплыли вместе, сестрица! — сказали русалочке сёстры и, обнявшись, поднялись на поверхность моря близ того места, где стоял дворец принца.

Дворец был из светло-жёлтого блестящего камня, с большими мраморными лестницами; одна из них спускалась прямо к морю. Великолепные позолоченные купола высились над крышей, а между колоннами, окружавшими здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые люди. Сквозь высокие зеркальные окна виднелись роскошные покои; всюду висели дорогие шёлковые занавеси, были разостланы ковры, а стены украшали большие картины. Заглядеденье, да и только! Посреди самой большой залы журчал фонтан; струи воды били высоко-высоко под стеклянный купол потолка, через который воду и диковинные растения, росшие по краям бассейна, озаряло солнце.

Теперь русалочка знала, где живёт принц, и стала приплывать ко дворцу почти каждый вечер или каждую ночь. Ни одна из сестёр не осмеливалась подплывать к земле так близко, ну а она заплывала даже в узкий канал, который проходил как раз под мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на юного принца, а он-то думал, что гуляет при свете месяца один-одинёшенек.

Много раз видела она, как он катался с музыкантами на своей нарядной лодке, украшенной развевающимися флагами. Русалочка выглядывала из зелёного тростника, и если люди иногда замечали, как полощется по ветру её длинная серебристо-белая вуаль, им казалось, что это плещет крыльями лебедь.

Много раз слышала она, как говорили о принце рыбаки, ловившие по ночам с факелом рыбу, они рассказывали о нём много хорошего, и русалочка радовалась, что спасла ему жизнь, когда его, полумёртвого, носило по волнам; она вспоминала, как его голова покоилась на её груди и как нежно поцеловала она его тогда. А он-то ничего не знал о ней, она ему и присниться не могла!

Всё больше и больше начинала русалочка любить людей, всё сильнее тянуло её к ним; их земной мир казался ей куда больше, чем её подводный; они могли ведь переплывать на своих кораблях море, взбираться на высокие горы выше облаков, а их страны с лесами и полями раскинулись так широко, что и глазом не охватишь! Очень хотелось русалочке побольше узнать о людях, о их жизни, но сёстры не могли ответить на все её вопросы, и она обращалась к бабушке: старуха хорошо знала «высший свет», как она справедливо называла землю, лежавшую над морем.

— Если люди не тонут,— спрашивала русалочка,— тогда они живут вечно, не умирают, как мы?

— Ну что ты!— отвечала старуха.— Они тоже умирают, их век даже короче нашего. Мы живём триста лет; только, когда мы перестаём быть, нас не хоронят, у нас даже нет могил, мы просто превращаемся в морскую пену.

— Я бы отдала все свои триста лет за один день человеческой жизни,— проговорила русалочка.

— Вздор! Нечего и думать об этом!— сказала старуха.— Нам тут живётся куда лучше, чем людям на земле!

— Значит, и я умру, стану морской пеной, не буду больше слышать музыку волн, не увижу ни чудесных цветов, ни красного солнца! Неужели я никак не могу пожить среди людей?

— Можешь,— сказала бабушка,— пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери, пусть отдастся он тебе всем своим сердцем и

помыслами, сделает тебя своей женой и поклянётся в вечной верности. Но этому не бывать никогда! Ведь то, что у нас считается красивым — твой рыбий хвост, например,— люди находят безобразным. Они ничего не смыслят в красоте; по их мнению, чтобы быть красивым, надо непременно иметь две неуклюжие подпорки, или ноги, как они их называют.

Русалочка глубоко вздохнула и печально посмотрела на свой рыбий хвост.

— Будем жить — не тужить!— сказала старуха.— Повеселимся вволю, триста лет — срок немалый... Сегодня вечером у нас во дворце бал!

Вот было великолепие, какого не увидишь на земле! Стены и потолок танцевальной залы были из толстого, но прозрачного стекла; вдоль стен рядами лежали сотни огромных пурпурных и травянисто-зелёных раковин с голубыми огоньками в середине; огни эти ярко освещали всю залу, а через стеклянные стены — и море вокруг. Видно было, как к стенам подплывают стаи больших и маленьких рыб, и чешуя их переливается золотом, серебром, пурпуром.

Посреди залы вода бежала широким потоком, и в ней танцевали под своё чудное пение водяные и русалки. Таких прекрасных голосов не бывает у людей. Русалочка пела лучше всех, и все хлопали ей в ладоши. На минуту ей было сделалось весело при мысли о том, что ни у кого и нигде, ни в море, ни на земле, нет такого чудесного голоса, как у неё; но потом она опять стала думать о надводном мире, о прекрасном принце, и ей стало грустно. Незаметно выскользнула она из дворца и, пока там пели и веселились, печально сидела в своём садике. Вдруг сверху донеслись звуки валторн, и она подумала: «Вот он опять катается на лодке! Как я люблю его! Больше, чем отца и мать! Я принадлежу ему всем сердцем, всеми своими помыслами, ему бы я охотно вручила счастье всей моей жизни! На всё бы я пошла — только бы мне быть с ним. Пока сёстры танцуют в отцовском дворце, поплыву-

ка я к морской ведьме. Я всегда боялась её, но, может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне!»

И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Ещё ни разу не доводилось ей проплывать этой дорогой; тут не росли ни цветы, ни даже трава — кругом был только голый серый песок; вода за ним бурлила и шумела, как под мельничным колесом, и увлекала за собой в пучину всё, что только встречала на своём пути. Как раз между такими бурлящими водоворотами и пришлось плыть русалочке, чтобы попасть в тот край, где владычила ведьма. Дальше путь лежал через горячий пузырящийся ил, это место ведьма называла своим торфяным болотом. А там уж было рукой подать до её жилья, окружённого диковинным лесом: вместо деревьев и кустов в нём росли полипы — полуживотные-полурастения, похожие на стоглавых змей, выраставших прямо из песка; ветви их были подобны длинным осклизлым рукам с пальцами, извивающимися, как черви; полипы ни на минуту не переставали шевелиться от корня до самой верхушки и хватали гибкими пальцами всё, что только им попадалось, и уже больше не выпускали. Русалочка в испуге остановилась, сердечко её забилось от страха, она готова была вернуться, но вспомнила о принце и собралась с духом: крепко обвязала вокруг головы свои длинные волосы, чтобы в них не вцепились полипы, скрестила на груди руки. И, как рыба, поплыла между омерзительными полипами, которые тянулись к ней своими извивающимися руками. Она видела, как крепко, точно железными клещами, держали они своими пальцами всё, что удалось им схватить: белые скелеты утонувших людей, корабельные рули, ящики, кости животных, даже одну русалочку. Полипы поймали и задушили её. Это было страшнее всего!

Но вот она очутилась на скользкой лесной поляне, где кувыркались, показывая противное желтоватое брюхо, большие, жирные водяные ужи. Посреди поляны был выстроен

7 Зак. 2850 Головинова, кн. 3, ч. 2

дом из белых человеческих костей; тут же сидела сама морская ведьма и кормила изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. Омерзительных ужей она звала своими цыплятками и позволяла им ползать по своей большой, ноздреватой, как губка, груди.

— Знаю, знаю, зачем ты пришла!— сказала русалочке морская ведьма.— Глупости ты затеваешь, ну да я всё-таки помогу тебе — на твою же беду, моя красавица! Ты хочешь отделаться от своего хвоста и получить вместо него подпорки, чтобы ходить, как люди. Хочешь, чтобы юный принц полюбил тебя.

И ведьма захохотала так громко и гадко, что и жаба и ужи попадали с неё и шлёпнулись на песок.

— Ну ладно, ты пришла в самое время!— продолжала ведьма.— Приди ты завтра поутру, было бы поздно, и я не могла бы помочь тебе раньше будущего года. Я изготовлю тебе питьё, ты возьмёшь его, поплывёшь с ним к берегу ещё до восхода солнца, сядешь там и выпьешь всё до капли; тогда твой хвост раздвоится и превратится в пару стройных, как сказали бы люди, ножек. Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят острым мечом. Зато все, кто тебя увидит, скажут, что такой прелестной девушки они ещё не встречали! Ты сохранишь свою плавную походку — ни одна танцовщица не сравнится с тобой, но помни: ты будешь ступать как по острым ножам, и твои ноги будут кровоточить. Вытерпишь всё это? Тогда я помогу тебе.

— Да!— сказала русалочка дрожащим голосом, подумав о принце.

— Помни,— сказала ведьма,— раз ты примешь человеческий облик, тебе уж не сделаться вновь русалкой! Не видать тебе ни морского дна, ни отцовского дома, ни сестёр! А если принц не полюбит тебя так, что забудет ради тебя и отца и мать, не отдастся тебе всем сердцем и не сделает тебя своей женой, ты погибнешь; с первой же зарёй после его женитьбы

на другой твоё сердце разорвётся на части, и ты станешь пеной морской.

— Пусть!— сказала русалочка и побледнела как смерть.

— А ещё ты должна заплатить мне за помощь,— сказала ведьма.— И я недёшево возьму! У тебя чудный голос, им ты и думаешь обворожить принца, но ты должна отдать этот голос мне. Я возьму за свой бесценный напиток самое лучшее, что есть у тебя: ведь я должна примешать к напитку свою собственную кровь, чтобы он стал остёр, как лезвие меча.

— Если ты возьмёшь мой голос, что же останется мне?— спросила русалочка.

— Твоё прелестное лицо, твоя плавная походка и твои говорящие глаза — этого довольно, чтобы покорить человеческое сердце! Ну полно, не бойся: высунешь язычок, и я отрежу его в уплату за волшебный напиток!

— Хорошо!— сказала русалочка, и ведьма поставила на огонь котёл, чтобы сварить питьё.

— Чистота — лучшая красота!— сказала она и обтёрла котёл связкой живых ужей.

Потом она расцарапала себе грудь; в котёл закапала чёрная кровь, и скоро стали подыматься клубы пара, принимавшие такие причудливые формы, что просто страх брал. Ведьма поминутно подбавляла в котёл новых и новых снадобий, и, когда питьё закипело, оно забулькало так, будто плакал крокодил. Наконец напиток был готов, на вид он казался прозрачнейшей ключевой водой.

— Бери!— сказала ведьма, отдавая русалочке напиток.

Потом отрезала ей язык, и русалочка стала немая — не могла больше ни петь, ни говорить.

— Схватят тебя полипы, когда поплывёшь назад,— напутствовала ведьма,— брызни на них каплю питья, и их руки и пальцы разлетятся на тысячу кусочков.

Но русалочке не пришлось этого делать — полипы с ужа-

сом отворачивались при одном виде напитка, сверкавшего в её руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она лес, миновала болото и бурлящие водовороты.

Вот и отцовский дворец; огни в танцевальной зале потушены, все спят. Русалочка не посмела больше войти туда — ведь она была немая и собиралась покинуть отцовский дом навсегда. Сердце готово было разорваться от тоски. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки у каждой сестры, послала родным тысячи воздушных поцелуев и поднялась на тёмно-голубую поверхность моря.

Солнце ещё не вставало, когда она увидела перед собой дворец принца и присела на широкую мраморную лестницу. Месяц озарял её своим чудесным голубым сиянием. Русалочка выпила обжигающий напиток, и ей показалось, будто её пронзили обоюдоострым мечом; она потеряла сознание и упала замертво. Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце; во всём теле она чувствовала жгучую боль. Перед ней стоял прекрасный принц и с удивлением рассматривал её. Она потупилась и увидела, что рыбий хвост исчез, а вместо него у неё появились две маленькие беленькие ножки. Но она была совсем нагая и потому закуталась в свои длинные, густые волосы. Принц спросил, кто она и как сюда попала, но она только кротко и грустно смотрела на него своими тёмно-синими глазами: говорить ведь она не могла. Тогда он взял её за руку и повёл во дворец. Правду сказала ведьма: каждый шаг причинял русалочке такую боль, будто она ступала по острым ножам и иголкам; но она терпеливо переносила боль и шла рука об руку с принцем легко, точно по воздуху. Принц и его свита только дивились её чудной, плавной походке.

Русалочку нарядили в шёлк и муслин, и она стала первой красавицей при дворе, но оставалась по-прежнему немой, не могла ни петь, ни говорить. Как-то раз к принцу и его царственным родителям позвали девушек-рабынь, разодетых в шёлк и золото. Они стали петь, одна из них пела особенно

хорошо, и принц хлопал в ладоши и улыбался ей. Грустно стало русалочке: когда-то и она могла петь, и несравненно лучше! «Ах, если бы он знал, что я навсегда рассталась со своим голосом, только чтобы быть возле него!»

Потом девушки стали танцевать под звуки чудеснейшей музыки; тут и русалочка подняла свои белые прекрасные руки, встала на цыпочки и понеслась в лёгком, воздушном танце; так не танцевал ещё никто!

Каждое движение подчёркивало её красоту, а глаза её говорили сердцу больше, чем пение рабынь.

Все были в восхищении, особенно принц; он назвал русалочку своим найдёнышем, а русалочка все танцевала и танцевала, хотя каждый раз, как ноги её касались земли, ей было так больно, будто она ступала по острым ножам. Принц сказал, что она всегда должна быть возле него, и ей было позволено спать на бархатной подушке перед дверями его комнаты.



Он велел сшить ей мужской костюм, чтобы она могла сопровождать его верхом. Они ездили по благоухающим лесам, где в свежей листве пели птицы, а зелёные ветви касались её плеч. Они взбирались на высокие горы, и хотя из её ног сочилась кровь и все видели это, она смеялась и продолжала следовать за принцем на самые вершины; там они любовались на облака, плывшие у их ног, точно стаи птиц, улетающих в чужие страны.

А ночью во дворце у принца, когда все спали, русалочка спускалась по мраморной лестнице, ставила пылающие, как в огне, ноги в холодную воду и думала о родном доме и о дне морском.

Раз ночью всплыли из воды рука об руку её сёстры и запели печальную песню; она кивнула им, они узнали её и рассказали ей, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали её каждую ночь, а один раз она увидала вдали даже свою старую бабушку, которая уже много лет не подымалась из воды, и самого царя морского с короной на голове, они простирали к ней руки, но не смели подплыть к земле так близко, как сёстры.

День ото дня принц привязывался к русалочке всё сильнее и сильнее, но он любил её только как милое, доброе дитя, сделать же её своей женой и принцессой ему и в голову не приходило, а между тем ей надо было стать его женой, иначе, если бы он отдал своё сердце и руку другой, она стала бы пеной морской.

«Любишь ли ты меня больше всех на свете?» — казалось, спрашивали глаза русалочки, когда принц обнимал её и целовал в лоб.

— Да, я люблю тебя! — говорил принц.— У тебя доброе сердце, ты предана мне больше всех и похожа на молодую девушку, которую я видел однажды и, верно, больше уж не увижу! Я плыл на корабле, корабль затонул, волны выбросили меня на берег вблизи какого-то храма, где служат Богу

молодые девушки; самая младшая из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь; я видел её всего два раза, но только её одну в целом мире мог бы я полюбить! Ты похожа на неё и почти вытеснила из моего сердца её образ. Она принадлежит к святому храму, и вот моя счастливая звезда послала мне тебя; никогда я не расстанусь с тобой!

«Увы! Он не знает, что это я спасла ему жизнь! — думала русалочка.— Я вынесла его из волн морских на берег и положила в роще, возле храма, а сама спряталась в морской пене и смотрела, не придёт ли кто-нибудь к нему на помощь. Я видела эту красивую девушку, которую он любит больше, чем меня! — И русалочка глубоко вздыхала, плакать она не могла.— Но та девушка принадлежит храму, никогда не вернётся в мир, и они никогда не встретятся! Я же нахожусь возле него, вижу его каждый день, могу ухаживать за ним, любить его, отдать за него жизнь!»

Но вот стали поговаривать, что принц женится на прелестной дочери соседнего короля и потому снаряжает свой великолепный корабль в плавание. Принц поедет к соседнему королю как будто для того, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом-то деле, чтобы увидеть принцессу; с ним едет большая свита. Русалочка на все эти речи только покачивала головой и смеялась — она ведь лучше всех знала мысли принца.

— Я должен ехать! — говорил он ей. — Мне надо посмотреть прекрасную принцессу; этого требуют мои родители, но они не станут принуждать меня жениться на ней, а я никогда не полюблю её! Она ведь не похожа на ту красавицу, на которую похожа ты. Если уж мне придётся наконец избрать себе невесту, так я лучше выберу тебя, мой немой найдёныш с говорящими глазами.

И он целовал её в розовые губы, играл её длинными волосами и клал свою голову на её грудь, где билось сердце, жаждавшее человеческого счастья и любви.

— Ты ведь не боишься моря, моя немая крошка? — говорил он, когда они уже стояли на корабле, который должен был отвезти их в страну соседнего короля.

И принц стал рассказывать ей о бурях и о штиле, о диковинных рыбах, что живут в пучине, и о том, что видели там ныряльщики, а она только улыбалась, слушая его рассказы, — она-то лучше всех знала, что есть на дне морском.

В ясную лунную ночь, когда все, кроме рулевого, спали, она села у самого борта и стала смотреть в прозрачные волны, и ей показалось, что она видит отцовский дворец; старая бабушка в серебряной короне стояла на вышке и смотрела сквозь волнующиеся струи воды на киль корабля. Затем на поверхность моря всплыли её сёстры; они печально смотрели на неё и протягивали к ней свои белые руки, а она кивнула им головой, улыбнулась и хотела рассказать о том, как ей хорошо здесь, но тут к ней подошёл корабельный юнга, и сёстры нырнули в воду, а юнга подумал, что это мелькнула в волнах белая морская пена.

Наутро корабль вошёл в гавань нарядной столицы соседнего королевства. В городе зазвонили в колокола, с высоких башен раздались звуки рогов; на площадях стояли полки солдат с блестящими штыками и развевающимися знамёнами. Начались празднества, балы следовали за балами, но принцессы ещё не было — она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда её отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она.

Русалочка жадно смотрела на неё и не могла не признать, что лица милее и прекраснее она ещё не видала. Кожа на лице принцессы была такая нежная, прозрачная, а из-за длинных тёмных ресниц улыбались синие кроткие глаза.

— Это ты! — сказал принц. — Ты спасла мне жизнь, когда я полумёртвый лежал на берегу моря!

И он крепко прижал к сердцу свою зардевшуюся невесту.

— Ах, я так счастлив! — сказал он русалочке.— То, о чём я не смел и мечтать, сбылось! Ты порадуешься моему счастью, ты ведь так любишь меня.

Русалочка поцеловала ему руку, а сердце её, казалось, вот-вот разорвётся от боли: его свадьба должна ведь убить её, превратить в пену морскую.

В тот же вечер принц с молодой женой должны были отплыть на родину принца; пушки палили, флаги развевались, на палубе был раскинут шатёр из золота и пурпура, устланный мягкими подушками; в шатре они должны были провести эту тихую, прохладную ночь.

Паруса надулись от ветра, корабль легко и плавно заскользил по волнам и понёсся в открытое море.

Как только смерклось, на корабле зажглись разноцветные фонарики, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые поднялась на поверхность моря и увидела такое же веселье на корабле. И вот она понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая коршуном. Все были в восторге: никогда ещё не танцевала она так чудесно! Её нежные ножки резало как ножами, но этой боли она не чувствовала — сердцу её было ещё больнее. Она знала, что один лишь вечер осталось ей пробыть с тем, ради кого она оставила родных и отцовский дом, отдала свой чудный голос и терпела невыносимые мучения, о которых принц и не догадывался. Лишь одну ночь оставалось ей дышать одним воздухом с ним, видеть синее море и звёздное небо, а там наступит для неё вечная ночь, без мыслей, без сновидений.

Далеко за полночь продолжались на корабле танцы и музыка, и русалочка смеялась и танцевала со смертельной мукой на сердце; принц же целовал красавицу жену, а она играла его чёрными кудрями; наконец рука об руку они удалились в свой великолепный шатёр.

На корабле всё стихло, только рулевой остался у руля.

Русалочка оперлась о поручни и, повернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, она знала, должен был убить её. И вдруг она увидела, как из моря поднялись её сестры, они были бледны, как и она, но их длинные роскошные волосы не развевались больше по ветру — они были обрезаны.

— Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти! А она дала нам вот этот нож — видишь, какой он острый? Прежде чем взойдёт солнце, ты должна вонзить его в сердце принца, и когда тёплая кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост и ты опять станешь русалкой, спустишься к нам в море и проживёшь свои триста лет, прежде чем превратишься в солёную пену морскую. Но спеши! Или он, или ты — один из вас должен умереть до восхода солнца. Убей принца и вернись к нам! Поспеши. Видишь, на небе показалась красная полоска? Скоро взойдёт солнце, и ты умрёшь!

С этими словами они глубоко вздохнули и погрузились в море.

Русалочка приподняла пурпуровую занавесь шатра и увидела, что головка молодой жены покоится на груди принца. Русалочка наклонилась и поцеловала его в прекрасный лоб, посмотрела на небо, где разгоралась утренняя заря, потом посмотрела на острый нож и опять устремила взор на принца, который во сне произнёс имя своей жены — она одна была у него в мыслях!— и нож дрогнул в руках русалочки. Ещё минута — и она бросила его в волны, и они покраснели, как будто в том месте, где он упал, из моря выступили капли крови.

В последний раз взглянула она на принца полуугасшим взором, бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело её расплывается пеной.

Над морем поднялось солнце; лучи его любовно согревали мертвенно-холодную морскую пену, и русалочка не чувство-

вала смерти; она видела ясное солнце и какие-то прозрачные, чудные создания, сотнями реявшие над ней. Она видела сквозь них белые паруса корабля и розовые облака в небе; голос их звучал как музыка, но такая возвышенная, что человеческое ухо не расслышало бы её, так же как человеческие глаза не видели их самих. У них не было крыльев, но они носились в воздухе, лёгкие и прозрачные. Русалочка заметила, что и она стала такой же, оторвавшись от морской пены.

— К кому я иду? — спросила она, поднимаясь в воздухе, и её голос звучал такою же дивною музыкой.

— К дочерям воздуха! — ответили ей воздушные создания. — Мы летаем повсюду и всем стараемся приносить радость. В жарких странах, где люди гибнут от знойного, зачумлённого воздуха, мы навеваем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и несём людям исцеление и отраду... Летим с нами в заоблачный мир! Там ты обретёшь любовь и счастье, каких не нашла на земле.

И русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу и в первый раз почувствовала у себя на глазах слёзы.

На корабле за это время всё опять пришло в движение, и русалочка увидела, как принц с молодой женой ищут её. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену, точно знали, что русалочка бросилась в волны. Невидимая, поцеловала русалочка красавицу в лоб, улыбнулась принцу и вознеслась вместе с другими детьми воздуха к розовым облакам, плававшим в небе.

Марк Твен
(Сэмюэл Ленгхорн Клеменс).
(1835—1910)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА.

Дойдя до бревенчатого школьного домика, стоявшего поодаль от других, Том вошёл туда шагом человека, который торопится изо всех сил. Он повесил шляпу на гвоздь и с деловитым видом бойко прошмыгнул на своё место. Учитель, восседавший на кафедре в большом плетёном кресле, дремал, убаюканный сонным гудением класса. Появление Тома разбудило его.

— Томас Сойер!

Том знал, что, когда его имя произносят полностью, это предвещает какую-нибудь неприятность.

— Я здесь, сэр.

— Подойдите поближе. По обыкновению, вы опять опоздали? Почему?

Том хотел было соврать, чтобы избавиться от наказания, но тут увидел две длинные золотистые косы и спину, которую он узнал мгновенно благодаря притягательной силе любви. *Единственное свободное место* во всём классе было рядом с этой девочкой. Не задумываясь ни на миг, он сказал:

— Я остановился на минуту поговорить с Гекельберри Финном!

Учителя чуть не хватил удар, он растерянно взирал на Тома. Гудение в классе прекратилось. Ученики подумывали, уж не рехнулся ли этот отчаянный малый. Учитель переспросил:

— Вы... Что вы сделали?

— Остановился поговорить с Гекельберри Финном.

Никакой ошибки быть не могло.

— Томас Сойер, это самое поразительное признание, какое я только слышал. Одной линейки мало за такой проступок. Снимите вашу куртку.

Рука учителя трудилась до полного изнеможения, пока не изломались все прутья. После чего был отдан приказ:

— А теперь, сэр, ступайте и сядьте с *девочками*! Пусть это будет для вас уроком.

Смешок, волной промчавшийся по классу, казалось, смутил Тома; на самом же деле это было не смущение, а почтительная робость перед новым божеством и страх, смешанный с радостью, которую сулила такая необыкновенная удача. Он сел на самый конец сосновой скамьи, а девочка, вздёрнув носик, отодвинулась от него подальше. Все кругом шептались, подталкивали друг друга и перемигивались; однако Том сидел смирно, положив руки перед собой на длинную низкую парту и, по-видимому, с головой уйдя в книгу.

Мало-помалу на него перестали смотреть, и привычное школьное жужжанье опять воцарилось в сонном воздухе. Том начал украдкой поглядывать на девочку. Она это заметила, презрительно поджала губы и на минуту даже повернулась к Тому спиной. Когда же она опять осторожно обернулась, перед ней очутился персик. Она его отодвинула. Том тихонько подвинул персик обратно. Она опять его оттолкнула, но уже не так враждебно. Том, не теряя терпения, положил персик на старое место. Она его не тронула. Том нацарапал на грифельной доске: «Пожалуйста, возьмите — у меня есть ещё». Девочка посмотрела на доску, но ничего не ответила. Тогда Том принялся рисовать что-то на доске, прикрывая своё произведение левой рукой. Сначала девочка не хотела ничего замечать, потом женское любопытство взяло верх, что можно было заметить по некоторым признакам. Том по-прежнему рисовал, как будто ничего не видя. Девочка попробовала исподтишка взглянуть на рисунок, но он ничем не


Ladies and g

показал, что замечает это. Наконец она сдалась и нерешительно шепнула:

— Можно мне посмотреть?

Том приоткрыл карикатурный домик с двумя коньками на крыше и трубой, из которой дым выходил штопором. Девочка так увлеклась рисованием Тома, что забыла обо всём на свете. После того как рисунок был окончен, она посмотрела на него с минуту и сказала:

— Как хорошо! А теперь нарисуйте человечка.

Художник изобразил перед домом человечка, похожего на подъёмный кран. Он мог бы перешагнуть через дом, но девочка судила не слишком строго — она осталась очень довольна этим страшилищем и прошептала:

— Какой красивый! А теперь нарисуйте меня.

Том нарисовал песочные часы, увенчанные полной луной, приделал к ним ручки и ножки в виде соломинок и вооружил растопыренные пальцы огромным веером. Девочка сказала:

— Ах, как хорошо! Жалко, что я не умею рисовать.

— Это легко, — прошептал Том,— я вас научу.

— Правда, научите? А когда?

— В большую перемену. Вы пойдёте домой обедать?

— Я могу остаться, если хотите.

— Вот это здорово! А как вас зовут?

— Бекки Тэтчер. А вас? Ах, я знаю: Томас Сойер.

— Это когда меня хотят выдрать. А если я хорошо себя веду — Том. Зовите меня Том, ладно?

— Ну что ж.

Том принялся царапать что-то на доске, закрывая написанное от Бекки. На этот раз она, не стесняясь, попросила показать, что это такое. Том ответил:

— Да так, ничего особенного.

— Нет, покажите.

— Да не стоит. Вам будет неинтересно.

— Нет, интересно. Покажите, пожалуйста.

— Вы про меня расскажете.

— Нет, не расскажу. Ну вот вам честное-пречестное, ну самое честное, что не расскажу.

— Никому-никому не скажете? Никогда, до самой смерти?

— Никому на свете. А теперь показывайте.

— Да вам же, право, неинтересно!

— Ну, если вы так со мной обращаетесь, то я сама посмотрю.

Она схватила своей маленькой ручкой руку Тома, последовала небольшая борьба, причём Том делал вид, будто сопротивляется, а сам мало-помалу отодвигал свою руку, пока не показались слова: «Я вас люблю!»

— А, какой вы противный! — И она проворно шлёпнула Тома по руке, но всё-таки покраснела, и вообще было видно, что она очень довольна.

В эту минуту мальчик почувствовал, как чья-то сильная рука медленно и неуклонно сжимает его ухо и тянет кверху и вперёд. Таким порядком его провели через весь класс и водворили на старое место, под перекрёстным огнём хихиканья. После этого учитель простоял над ним несколько тягостных мгновений, наконец отошёл прочь, к своему трону, так и не сказав ни слова. И хотя ухо Тома горело, сердце его было полно ликования.

После того как в классе всё утихло, Том сделал честную попытку учить уроки, но был для этого слишком взволнован. Когда дошла до него очередь отвечать вслух, он опозорился, потом, отвечая по географии, превращал озёра в горные хребты, хребты в реки и реки в материки, так что на земле снова водворился хаос; потом, когда писали диктант, он наделал ошибок в самых простых словах, известных всякому младенцу, оказался на последнем месте, и оловянная медаль за правописание, которую он носил всем напоказ несколько месяцев подряд, перешла к другому ученику.

Сельма Лагерлёф.
(1858—1940)

СВЯТАЯ НОЧЬ.

Когда мне было пять лет, меня постигло большое горе. Я не знаю, испытала ли я впоследствии горе большее, чем тогда.

У меня умерла бабушка. До того времени она каждый день сидела на угловом диване в своей комнате и рассказывала чудные вещи.

Я не помню бабушку иной, как сидящей на своём диване и рассказывающей с утра до ночи нам, детям, притаившимся и смирно сидящим возле неё; мы боялись проронить хоть слово из рассказов бабушки. Это была очаровательная жизнь! Не было детей более счастливых, чем мы.

Я смутно помню образ бабушки. Помню, что у неё были прекрасные, белые, как мел, волосы, что была она очень сгорбленна и постоянно вязала свой чулок.

Ещё помню, что, когда бабушка кончала рассказ, она клала свою руку мне на голову и говорила:

«И всё это такая же правда, как то, что я тебя вижу, а ты меня».

Помню, что бабушка умела петь красивые песни; но пела их бабушка не каждый день. В одной из этих песен говорилось о каком-то рыцаре и морской деве, к этой песне был припев:

«Как холодно веет ветер, как холодно веет ветер по широкому морю».

Вспоминаю я маленькую молитву, которой научила меня бабушка, и стихи псалма.

О всех рассказах бабушки сохранилось у меня лишь слабое, неясное воспоминание. Только один из них помню я так

хорошо, что могу рассказать. Это — маленький рассказ о Рождестве Христовом.

Вот почти всё, что у меня сохранилось в памяти о бабушке; но лучше всего я помню горе, которое меня охватило, когда она умерла.

Я помню то утро, когда угловой диван остался пустым, и было невозможно себе представить, как провести длинный день. Это помню я хорошо и никогда не забуду.

Нас, детей, привели, чтобы проститься с умершей. Нам было страшно поцеловать мёртвую руку; но кто-то сказал нам, что последний раз мы можем поблагодарить бабушку за все радости, которые она нам доставляла.

Помню, как ушли сказания и песни из нашего дома, заколоченные в длинный чёрный гроб, и никогда не вернулись.

Помню, как что-то исчезло из жизни. Будто закрылась дверь в прекрасный волшебный мир, доступ в который нам был до того совершенно свободен. С тех пор не стало никого, кто смог бы снова открыть эту дверь.

Помню, что пришлось нам, детям, учиться играть в куклы и другие игрушки, как играют все дети, и постепенно мы научились и привыкли к ним. Могло показаться, что заменили нам новые забавы бабушку, что забыли мы её.

Но и сегодня, через сорок лет, в то время, как разбираю я сказания о Христе, собранные и слышанные мною в далёкой чужой стране, в моей памяти живо встаёт маленький рассказ о Рождестве Христовом, слышанный мной от бабушки. И мне приятно ещё раз его рассказать.

* * *

Это было в Рождественский сочельник. Все уехали в церковь, кроме бабушки и меня. Я думаю, что мы вдвоём были одни во всём доме; только мы с бабушкой не смогли поехать со всеми, потому что она была слишком стара, а я слишком мала. Обе мы были огорчены, что не услышим Рождественских песнопений и не увидим священных огней.

Когда уселись мы, одинокие, на бабушкином диване, бабушка начала рассказывать:

«Однажды глубокой ночью человек пошёл искать огня. Он ходил от одного дома к другому и стучался.

— Добрые люди, помогите мне! — говорил он. — Дайте мне горячих углей, чтобы развести огонь: мне нужно согреть только что родившегося Младенца и Его Мать.

Ночь была глубокая, все люди спали, и никто ему не отвечал.

Человек шёл всё дальше и дальше. Наконец увидел он вдали огонёк. Он направился к нему и увидел, что это — костёр. Множество белых овец лежало вокруг костра; овцы спали, их сторожил старый пастух.

Человек, искавший огня, подошёл к стаду; три огромные собаки, лежавшие у ног пастуха, вскочили, заслыша чужие шаги; они раскрыли свои широкие пасти, как будто хотели лаять, но звук лая не нарушил ночной тишины. Человек увидел, как шерсть поднялась на спинах собак, как засверкали в темноте острые зубы ослепительной белизны, и собаки бросились на него. Одна из них схватила его за ногу, другая — за руку, третья — вцепилась ему в горло; но зубы и челюсти не слушались собак, они не смогли укусить незнакомца и не причинили ему ни малейшего вреда.

Человек хотел подойти к костру, чтобы взять огня. Но овцы лежали так близко одна к другой, что спины их соприкасались, и он не мог дальше идти вперёд. Тогда человек взобрался на спины животных и пошёл по ним к огню. И ни одна овца не проснулась и не пошевелилась».

До сих пор я, не перебивая, слушала рассказ бабушки, но тут я не могла удержаться, чтобы не спросить.

— Почему не пошевелились овцы? — спросила я бабушку.

— Это ты узнаешь немного погодя, — ответила бабушка и продолжала рассказ:

«Когда человек подошёл к огню, заметил его пастух. Это

был старый, угрюмый человек, который был жесток и суров ко всем людям. Завидя чужого человека, он схватил длинную, остроконечную палку, которой гонял своё стадо, и с силой бросил её в незнакомца. Палка полетела прямо на человека, но, не коснувшись его, повернулась в сторону и упала где-то далеко в поле».

В этом месте я снова перебила бабушку:

— Бабушка, почему палка не ударила человека? — спросила я; но бабушка мне ничего не ответила и продолжала свой рассказ.

«Человек подошёл к пастуху и сказал ему:

— Добрый друг! Помоги мне, дай мне немного огня. Только что родился Младенец; мне надо развести огонь, чтобы согреть Малютку и Его Мать.

Пастух охотнее всего отказал бы незнакомцу. Но когда он вспомнил, что собаки не смогли укусить этого человека, что овцы не разбежались перед ним и палка не попала в него, как-будто не захотела ему повредить, пастуху стало жутко и он не осмелился отказать незнакомцу в его просьбе.

— Возьми, сколько тебе надо, — сказал он человеку.

Но огонь уже почти потух. Сучья и ветки давно сгорели, оставались лишь кроваво-красные уголья, и человек с заботой и недоумением думал о том, в чём донести ему горячие уголья.

Заметя затруднение незнакомца, пастух ещё раз повторил ему:

— Возьми, сколько тебе надо!

Он со злорадством думал, что человек не сможет взять огня. Но незнакомец нагнулся, голыми руками достал из пепла горячих углей и положил их в край своего плаща. И уголья не только не обожгли ему руки, когда он их доставал, но не прожгли и плаща, и незнакомец пошёл спокойно назад, как будто нёс в плаще не горячие уголья, а орехи или яблоки».

Тут снова не могла я удержаться, чтобы не спросить:

— Бабушка! почему не обожгли уголья человека и не прожгли ему плащ?

— Ты скоро это узнаешь,— ответила бабушка и стала рассказывать дальше.

«Старый, угрюмый, злой пастух был поражён всем, что пришлось ему увидеть.

— Что это за ночь,— спрашивал он сам себя,— в которую собаки не кусаются, овцы не пугаются, палка не ударяет и огонь не жжёт?

Он окликнул незнакомца и спросил его:

— Что сегодня за чудесная ночь? И почему животные и предметы оказывают тебе милосердие?

— Я не могу тебе этого сказать, если ты сам не увидишь,— ответил незнакомец и пошёл своей дорогой, торопясь развести огонь, чтобы согреть Мать и Младенца.

Но пастух не хотел терять его из вида, пока не узнает, что всё это значит. Он встал и пошёл за незнакомцем, и дошёл до его жилища.

Тут увидел пастух, что человек этот жил не в доме и даже не в хижине, а в пещере под скалой; стены пещеры были голы, из камня, и от них шёл сильный холод. Тут лежали Мать и Дитя.

Хотя пастух был чёрствым, суровым человеком, но ему стало жаль невинного Младенца, который мог замёрзнуть в каменистой пещере, и старик решил помочь Ему. Он снял с плеч мешок, развязал его, вынул мягкую, тёплую пушистую овечью шкурку и передал её незнакомцу, чтобы завернуть в неё Младенца.

Но в тот же миг, когда показал пастух, что и он может быть милосердным, открылись у него глаза и уши, и он увидел то, чего раньше не мог видеть, и услышал то, чего раньше не мог слышать.

Он увидел, что пещеру окружают множество ангелов с серебряными крыльями и в белоснежных одеждах. Все они

держат в руках арфы и громко поют, славословя родившегося в эту ночь Спасителя мира, Который освободит людей от греха и смерти.

Тогда понял пастух, почему все животные и предметы в эту ночь были так добры и милосердны, что не хотели никому причинить вреда.

Ангелы были всюду; они окружали Младенца, сидели на горе, парили под небесами. Всюду было ликование и веселье, пение и музыка; тёмная ночь сверкала теперь множеством небесных огней, светилась ярким светом, исходившим от ослепительных одежд ангелов. И всё это увидел и услышал пастух в ту чудесную ночь и так был рад, что открылись глаза и уши его, что упал на колени и благодарил Бога».

Тут бабушка вздохнула и сказала:

— То, что увидел тогда пастух, могли бы и мы увидеть, потому что ангелы каждую Рождественскую ночь летают над землёю и славословят Спасителя, но если бы мы были достойны этого.

И бабушка положила свою руку мне на голову и сказала:

— Заметь себе, что всё это такая же правда, как то, что я тебя вижу, а ты меня. Ни свечи, ни лампады, ни солнце, ни луна не помогут человеку: только чистое сердце открывает очи, которыми может человек наслаждаться лицезрением красоты небесной.

В НАЗАРЕТЕ.

Однажды, когда Иисусу было всего пять лет, Он сидел на крылечке своего дома в Назарете и лепил из мягкой глины, которую дал Ему сосед-горшечник, птичек-кукушек.

Мальчик был весел и радостен, как, кажется, ещё никогда. Все дети в околотке не раз говорили Иисусу, что горшечник — суровый и злой человек, что ни ласковыми взглядами, ни

сладкими речами нельзя размягчить сердце старика,— и мальчик не решался попросить у него кусочка глины. Но сегодня — мальчик и сам не знает, как это случилось,— он пришёл к дому горшечника, и в то время, когда Иисус стоял на пороге дома горшечника и даже не успел ещё сказать ни одного слова, а только смотрел, как работает горшечник, и очень хотел получить хоть кусочек глины,— старик вдруг молча встал, вышел из лавки и дал мальчику столько глины, что из неё можно было бы вылепить целый жбан для вина.

На ступеньках соседнего дома сидел Иуда. Это был чрезвычайно уродливый ребёнок с рыжими жёсткими волосами; лицо его вечно было в синяках и царапинах, а платье изорвано от ежедневных драк, в которых он постоянно участвовал со всеми уличными мальчишками. Но сейчас Иуда сидел тихо и трудился над той же работой, что и Иисус,— лепил из глины.

Однако глину он не сам раздобыл: Иуда не посмел бы и на глаза показаться горшечнику, который подозревал, что злой мальчик исподтишка забавлялся тем, что бросал камни в хрупкую посуду, над которой трудился горшечник, и разбивал её на мелкие куски. Горшечник давно был зол на Иуду и с удовольствием побил бы его своей длинной палкой, если бы представился случай. Глиной поделился с Иудой Иисус.

По мере того как оба мальчика изготовляли своих глиняных кукушек, они расставляли птиц по земле в кружок перед собой. Глиняные птички выглядели точно так же, как выглядели во все времена и выглядят и теперь, когда их изготовляют маленькие художники. У каждой птицы была одна толстая, в виде тумбочки, нога, на которой она стояла, коротенький хвостик, никакой шеи и едва заметные крылышки.

Но, как это часто случается, вскоре же сказалась большая разница в работе обоих мальчиков. Иудины птички были все так кривобоки, что всё время падали и никак не могли стоять; как ни трудился Иуда, стараясь своими неловкими, жёсткими

пальцами придать птицам правильную форму, ему это никак не удавалось, и птицы выходили одна уродливее другой. Иуда украдкой посматривал в сторону Иисуса, чтобы уловить, как Он делает, что Его птички получаются такие ровные, гладкие, как листья на дубах горы Фавора.

Чем больше изготовлял Иисус птичек, тем становился веселее; с каждой новой кукушкой радость всё ярче заливала Его приветливое личико. Мальчик находил своих птичек прекрасными и с гордостью и любовью оглядывал их.

Эти птички будут товарищами Его игр, они заменят Ему маленьких братьев и сестёр; они будут спать с Ним, в Его постельке, будут с Ним разговаривать, петь Ему свои песни, когда Иисус будет оставаться один. Никогда ещё мальчик не чувствовал себя таким богатым, никогда больше не будет Он скучать в одиночестве, когда Мать уйдёт на работу.

Мимо маленького художника проходил рослый водонос, согнувшись под своей тяжёлой ношей, а за ним следом проехал верхом продавец зелени; он смешно возвышался на спине своего осла среди огромных пустых корзин. Водонос остановился, чтобы передохнуть, он положил свою руку на белокурую головку Иисуса и стал расспрашивать о Его птичках. Мальчик с радостью рассказывал ему, что у каждой птички будет своё имя и все они будут петь. Все эти птички прилетели к Нему из далёких чужих стран, и каждая рассказывает Иисусу о том, что видела и слышала, такие чудесные вещи! Так говорил Иисус о том, что рассказывают Ему птички, что и водонос и зеленщик забыли о своих делах и долго стояли и слушали Его.

Когда водонос взвалил на спину свой мех с водой, а зеленщик был готов двинуться в путь, Иисус крикнул им:

— Посмотрите же, каких хорошеньких птичек сделал Иуда!

Зеленщик придержал осла и ласково обратился к Иуде, спрашивая его, есть ли и у его птичек имена и умеют ли они

петь. Но Иуда ничего не ответил ему, упрямо молчал, не поднимая глаз от работы, и раздосадованный зеленщик толкнул ногой одну из его кукушек и поехал дальше.

Прошёл день, и солнце стало так низко, что лучи его проникали сквозь узкие городские ворота, украшенные гордым римским орлом; эти ворота находились в конце улицы. Солнечные лучи к концу дня стали совсем красными и окрашивали в пурпур всё, что попадалось им по пути в узкой улице Назарета. Они одинаково окрасили и посуду горшечника, и доски плотника, и белый платок на голове Марии.

Но прекраснее всего сверкали кровавым блеском лучи заходящего солнца в двух маленьких лужицах, оставшихся от недавнего дождя между камнями мостовой.

Иисус быстро опустил руку в лужицу, которая была к Нему ближе: Ему вдруг пришла в голову мысль окрасить солнечным пурпуровым лучом, который придал всему кругом такой прекрасный живой цвет, своих серых птичек.

И солнечный луч был счастлив, что мальчик заметил его, и охотно дал поймать себя маленьким ручкам Иисуса; а когда мальчик стал красить им, как обыкновенной краской, своих птичек, луч спокойно и послушно покрыл всё тело птички, от головы до хвостика, и глиняная серая птичка вдруг засверкала алым румянцем, как алмазное сияние.

Иуда не переставая поглядывал на Иисуса, чтобы следить, как подвигается Его работа и лучше ли Его птички; он вскрикнул от удивления, когда увидел, как Иисус красит своих птичек солнечным лучом, который достаёт из лужицы. И Иуда опустил руку в другую лужицу, чтобы тоже поймать солнечный луч.

Но луч не дался ему. Он проскользнул сквозь пальцы Иуды, и как тот ни старался сжимать пальцы, чтобы удержать его, луч всё равно ускользал; мальчик не мог добыть ни капли краски, чтобы расцветить своих бедных птичек.



— Подожди, Иуда,— сказал Иисус,— Я приду и покрашу твоих птичек.

— Нет,— злобно ответил Иуда,— Ты не смеешь их тронуть. Они хороши такими, какие есть.

Он вскочил, мрачно нахмурив лоб и крепко стиснув губы. В бессильной злобе, Иуда наступал своей большой ступнёй на своих птичек и передавил всех их, одну за другой, превратя в бесформенные жалкие комочки глины.

Когда Иуда покончил со своими птицами, он подошёл к Иисусу. Мальчик сидел, любуясь своими глиняными птичками, сверкавшими теперь как драгоценности. Иуда посмотрел на прелестных птичек, молча поднял ногу и раздавил одну из них.

Увидя маленький серый комочек вместо яркой птички, Иуда пришёл в дикую радость и стал громко хохотать. Он занёс ногу, чтобы снова раздавить следующую птичку.

— Иуда!— воскликнул Иисус.— Что ты делаешь? Разве ты не знаешь, что они живые и могут петь?

Но Иуда не переставал смеяться и раздавил ногой ещё одну птичку.

Иисус беспомощно оглянулся. Иуда был большого роста, и у Иисуса не хватило бы сил его удержать. Мальчик стал взглядом искать свою Мать,— Она была недалеко, но всё-таки не успела бы прийти и помешать Иуде раздавить всех птиц. Слёзы выступили на глазах Иисуса.

Иуда раздавил уже четырёх Его птичек, оставалось только три.

Иисус с горем смотрел на своих птичек: почему они так беспомощно стоят и покорно дают топтать себя, разве они не видят опасности?

Мальчик стал ударять в ладоши и громко закричал, как бы желая разбудить птиц:

— Летите, летите же!

И птички, все три, тотчас расправили крылышки и робко

вспорхнули: через мгновение они уже сидели на краю крыши, где были в безопасности.

Когда Иуда увидел, что глиняные птицы по слову Иисуса расправили крылья и улетели, он начал громко плакать и рвать на себе волосы и одежды; он видел, что так делают взрослые, когда у них великое горе или страх, и бросился к ногам Иисуса.

Он лежал, как собака, в пыли, стонал и обнимал ноги Иисуса и умолял раздавить его ногой так, как он, Иуда, раздавил птичек.

Иуда любил Иисуса и обожал Его, поклонялся Ему и в то же время ненавидел.

Мария не переставала издали следить за игрой детей; Она теперь подошла к ним, подняла Иуду, посадила к себе на колени и стала ласкать.

— Бедное дитя!— говорила Она.— Ты не знаешь, что ты дерзнул на то, что не под силу никому на земле. Никогда больше не думай вступать с Ним в борьбу, если не хочешь стать несчастнейшим из людей. Кто может равняться с Тем, Кто раскрашивает, как краской, солнечным лучом и Кто может в мёртвую глину вдохнуть дыхание жизни?

Из «Сказаний о Христе».



Вопросы и задания.

1. В какую фантастическую страну попал Гулливер? Что его особенно поразило в ней? Какие приёмы использует рассказчик, чтобы убедить читателей, что всё описываемое происходило на самом деле?

2. Составь план прочитанного тобой фрагмента из «Приключений Гулливера». Подготовься к пересказу по составленному плану.

3. Читал ли ты другие рассказы барона Мюнхаузена? Что ты можешь рассказать о характере главного героя? Придумай сам историю, подобную невероятным рассказам барона.

4. Почему русалочка решила проститься со своей подводной жизнью и стать человеком? Какой эпизод из сказки тебе хотелось бы проиллюстрировать? Почему?

5. Как ты думаешь, кто-нибудь виноват в том, что русалочка погибла? Почему, по твоему мнению, так печально заканчивается сказка?

6. Назови других действующих лиц сказки «Русалочка». Кто из них тебе понравился, чем? Составь словесный портрет такого персонажа.

7. Как бы ты назвал прочитанный фрагмент из романа М. Твена «Приключения Тома Сойера»?

8. Какие уловки придумывал Том Сойер, чтобы познакомиться и подружиться с Бекки Тэтчер?

9. Как, по твоему мнению, относится Марк Твен к своему герою: *осуждает его за взбалмошный характер, подсмеивается над ним, холодно и бесстрастно наблюдает за ним?*

10. Знаешь ли ты, в какой стране жил Марк Твен? Что ты можешь рассказать об этой стране?

11. Какие удивительные события происходят в историях, рассказанных Сельмой Лагерлёф?

12. Подготовься пересказать одну из историй о Христе кратко, а другую — развёрнуто.

СОДЕРЖАНИЕ.

ТВОЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА.

Страна далёкого детства.

Поэтическая тетрадь «Тихая моя родина».

Учебное издание

РОДНАЯ РЕЧЬ

**Учебник по чтению
для учащихся начальной школы**

КНИГА 3

Часть 2

Составители:

Голованова Мария Владимировна
Горецкий Всеслав Гаврилович
Климанова Людмила Фёдоровна

Зав. редакцией *Л. А. Виноградская*
Редактор *А. В. Рассказова*
Художники *О. В. Ованесбегянц, В. Г. Первов, А. С. Плаксин, Б. Л. Рытман*
Художественный редактор *В. Г. Ежков*
Технические редакторы *Л. В. Марухно, С. С. Якушкина*
Корректоры *И. В. Чернова, Н. В. Белозёрова*

ИБ 14572

Сдано в набор 13.05.93. Подписано к печати 03.11.93. Формат 70×90 1/16. Бум. офс. № 1. Гарнитура Школьная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,21+0,36 форз. Усл. кр.-отт. 62,67. Уч.-изд. л. 10,72+0,48 форз. Тираж 222000 экз. Заказ 3850.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Министерства печати и информации Российской Федерации. 127521, Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, 41.

Смоленский полиграфический комбинат Комитета Российской Федерации по печати. 214020, Смоленск, ул. Смольянинова, 1.

